K 44 7/98

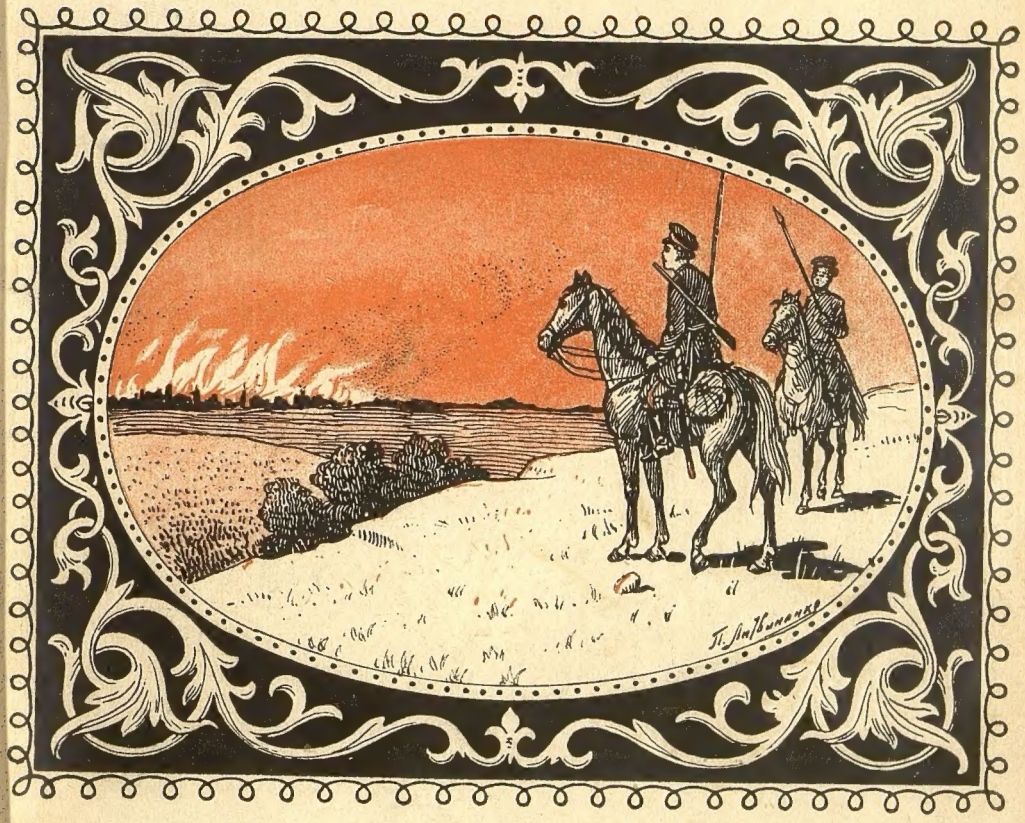
K447/98

4

Библіотека Московскаго Кутузовскаго Собранія.

ОКОЛО ВОЙНЫ.

ОТРАЖЕНІЯ.



ЛИТЕРАТУРНЫЙ АЛЬМАНАХЪ.

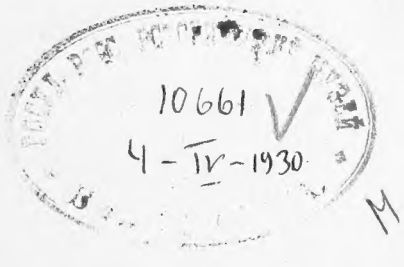
К 447/98

ОКОЛО ВОЙНЫ.

Отраженія.

Леонидъ Андреевъ, М. Арцыбашевъ, В.Бѣловъ, З. Гиппіусъ, А. Гринъ, М. Кузминъ, А. Купринъ, Б.Лазаревскій, В.Муйжель, Б. Никоновъ, Т. Ольгенинъ, А. Осиповъ, Л. Пасынковъ, Д. Романовъ, А. Русановъ, Ѳ. Сологубъ, пр. В.Сперанскій, проф. В. Фриче, Е. Чириковъ, Т. Щепкина-Куперникъ, А. Ѳедоровъ и др.

Литературный Альманахъ.



МОСКВА.—1915.
Типографія и цинкографія Т./д. «МЫСЛЬ», Петровка, 17.

* * *

Въ какое время мы живемъ!
Сквозь бой и бранную тревогу
Твои слова мы узнаемъ,
Господь, и шепчемъ: «слава Богу!»

Въ пальбѣ и лязгѣ тихій духъ
Свобода вѣетъ надъ просторомъ,
И ловитъ вѣрно вѣщій слухъ
Недосягаемое взорамъ.

Готовы будемъ, какъ женихъ,
Той свѣтлой вечери алкая.
Искоренимъ въ себѣ самихъ,
За что пролита кровь родная!

М. Кузмихъ.

Съ любовью.

«...послѣ славной побѣды
Нація стала союзомъ племенъ...»

Сологубъ.

7-го авг. 1914 г.

Поэты, не пишите слишкомъ рано,
Мы всѣ еще въ рукѣ Господней,
Сегодня еще дымятся раны,
Слова еще не нужны сегодня.

Въ часы неоправданнаго страданья
И нерѣшенной битвы,—
Нужно цѣломудріе молчанья
И, можетъ быть, тихія молитвы...

З. Гиппіусъ.

Библіотека Московскаго Купеческаго Собранія.

ВЪ ЛѢСУ.

Эпизодъ изъ походной жизни.

Уже три часа, какъ мы шли по этому безконечному лѣсу.

Моросилъ отвратительный, пронизывающій до костей, дождь.

Ноги вязли по щиколотку въ липкой глинѣ, мало-по-малу превращаясь въ безформенные обрубки.

Усталость желѣзнымъ кольцомъ сковывала члены, затрудняла дыханіе.

Хотѣлось сбросить всю аммуницію и лечь тутъ же въ грязь, подъ холоднымъ дождемъ, только бы отдохнуть и забыться.

Наступленіе было въ полномъ разгарѣ.

Противникъ отступалъ съ поспѣшностью, похожей на бѣгство, бросая обозныя повозки, зарядные ящики и боевые припасы.

Шли молча...

Гдѣ-то вдалекѣ вяло пощелкивали одиночные выстрѣлы.

Я шагалъ въ толпѣ солдатъ, спотыкаясь о кочки, путаясь въ густомъ верескѣ, рискуя каждую секунду упасть въ какую-нибудь яму.

Хотѣлось курить, но отсырѣвшія спички упорно не желали горѣть, а папироса черезъ нѣсколько мгновеній превращалась въ какую-то липкую кашу...

— Ваше благородіе, можетъ, не побрезгуете?—и чья-то рука съ замуслянной «цыгаркой» протянулась почти къ самому моему лицу...

Я обернулся.

Рядомъ со мной топталась какая-то неказистая фигура въ напяленномъ, поверхъ снаряженія, полотнищѣ австрійской палатки, неуклюжая, лишенная, на первый взглядъ, всякой военной выправки. Такихъ въ полку обыкновенно прозываютъ «михрютками», «ваньками» и другими насмѣшливыми именами.

Я съ радостью взялъ предложенную такъ необычайно грубую «цыгарку» и съ наслажденіемъ вдохнулъ крѣпкую струю россійской махорки.

— Да вы, ваше благородіе, ее въ рукавъ суйте, а то опять замокнетъ,—наставительно училъ меня солдатикъ.

Я послѣдовалъ его совѣту.

Отъ крѣпкаго дыма слегка закружилась голова и какъ-то сразу стало веселѣе.

Пронизывающій дождь уже казался не такимъ холоднымъ, дорога не такой трудной и однообразной.

— Ваше благородіе, ихъ высокоблагородіе приказали примыкать влѣво,—подошелъ ко мнѣ солдатикъ изъ связи батальоннаго командира.

Отдавъ команду, я углубился въ чащу.

Мокрыя, колючія вѣтви молодого сосняка били по лицу, лѣзли въ глаза, царапали руки.

То тамъ, то сямъ кто-нибудь изъ солдатъ, запнувшись о корень, падалъ, оглашая воздухъ виртуозными ругательствами подъ дружный смѣхъ окружающихъ.

Позади медленно тащили снятые съ передковъ пулеметы.

Всѣ какъ-то сразу повеселѣли.

Въ лѣсу мочило меньше и было теплѣе.

Впереди мелькнулъ просвѣтъ и, черезъ минуту, мы вышли на довольно большую прогалину, прорѣзанную небольшой, но быстрой рѣченкой.

Вправо въ бинокль можно было видѣть дорогу, съ которой мы свернули, и сиротливо торчащія сваи разрушеннаго моста, у котораго копошились люди.

Развернувъ цѣпь по опушкѣ, я сталъ ожидать приказаній.

Ждать пришлось недолго.

Ординарецъ на взмыленной лошади бросилъ на-скаку приказъ переправляться и помчался дальше, поднявъ цѣлый фонтанъ брызгъ и грязи.

— Ишь «заборную кавалерію» какъ разобрало...— ворчали солдаты, вытирая попавшія въ лицо брызги.

Тѣмъ временемъ работа по сооруженію переправы закипѣла...

Рубились деревья, вбивались колья, дѣлалась настилка изъ вѣтвей...

И все это весело, съ шутками и острыми словцами...

Пока другіе работали, часть солдатъ, высоко поднявъ надъ головой патроны и винтовки, влѣзла въ воду и переправилась на противоположный берегъ.

Къ счастью, вода едва доходила до груди...

Да и надо было торопиться...

Смолкнувшая на время перестрѣлка вдругъ разгорѣлась съ новой силой...

Гдѣ-то грохотнуло орудіе...

Выславъ впередъ дозоръ изъ успѣвшихъ уже переправиться, я послалъ солдата съ донесеніемъ къ батальонному командиру...

Твердо помня приказъ держаться всегда впереди головного отряда, я начиналъ бояться, что если мы подвергнемся обстрѣлу, то наскоро сдѣланные и даже еще не оконченные мостки, конечно, сейчасъ же рухнутъ, и тогда не удастся переправить пулеметовъ...

А это надо было сдѣлать во что бы то ни стало...

Солдаты работали, какъ бѣшеные...

Имъ не нужно было ни указывать ни понукать...

Сбросивъ скатки, патроны и винтовки они входили въ холодную воду, еле удерживаясь на ногахъ отъ быстроты теченія, подпирали плечами тяжелыя бревна, связывали ихъ веревками, укрѣпляли подпорки, и во всемъ этомъ было видно сознаніе важности исполняемаго дѣла...

Изъ дозора прибѣжалъ солдатъ...

Непріятель показался и перешелъ въ наступленіе...

Вотъ прожужжала первая пуля и противно чмокнула въ стволъ дерева. За ней другая, третья, и скоро весь лѣсъ наполнился словно надоѣдливыми шмелями...

То тамъ, то здѣсь падали на землю сломанные сучья...

Откуда-то черезъ наши головы пронесся снарядъ и разорвался гдѣ-то въ сторонѣ непріятеля...

Эта наша батарея нащупывала врага...

Начиналось нешуточное дѣло...

Приказавъ бросить постройку мостковъ и начать переправу пулеметовъ, я волновался и нервничалъ, чувствуя всю громадную отвѣтственность даннаго момента...

Отвѣтственность за людей и, можетъ быть, даже за успѣхъ сегодняшняго боя...

Подтащили пулеметы...

— А вдругъ упадетъ,—мелькнуло у меня въ головѣ...

И, словно угадывая мою мысль, нѣсколько солдатъ спустились въ воду и, подперевъ плечами зыбкіе мостки, замерли, какъ живыя изваянія...

А пули все продолжали падать...

Хлопали по водѣ, щелкали по грязи, щепили деревья, и

этотъ надоѣдливый стонъ порванныхъ струнъ назойливо садился въ уши...

По счастью, никто еще не былъ задѣтъ...

За минуту еще смѣющіяся лица стали спокойными и серьезными...

Медленно, осторожно продвигается стальное чудовище, въ своемъ сѣромъ чехлѣ, похожее на безобидную черепаху, по жидкой настилкѣ...

— Поддерживай, поддерживай, заходи справа... Чего сталъто... у, идолъ. Это тебѣ, небось, не съ бабами хороводиться...— слышались сдержанные окрики переправлявшихся...

Вотъ шальная пулька звонко чиркнула по дулу и ранила рядомъ идущаго солдата...

Тотъ въ первый моментъ согнулся, какъ отъ удара, но потомъ снова сталъ поддерживать накренившійся было пулеметъ, видимо, превозмогая сильную боль...

Еще нѣсколько человѣкъ было задѣто...

Тѣмъ временемъ подъ лѣсомъ шелъ настоящій артиллерійскій поединокъ...

Кокетливые клубочки шрапнели съ заунывнымъ визгомъ проносились надъ нашими головами и гдѣ-то лопались со своимъ зловѣщимъ трескомъ...

— Слава Богу!

...Послѣдній пулеметъ благополучно достигъ берега...

— Влѣво, въ цѣпь... Пулеметы впередъ... Перебѣжка отдѣленіями справа—начинай...

Сѣрая вереница солдатъ подтянулась, выровнялась, разсыпалась вѣеромъ и быстро двинулась впередъ...

Добѣжавъ до перелѣска, за которымъ уже начиналось чистое поле, мы увидѣли вдалекѣ непріятельскую колонну, стройно, какъ на парадѣ, двигающуюся въ нашу сторону...

— Цѣпь! стой!

Солдаты скрылись въ вересклѣ, за деревьями, пропали сразу, словно провалились сквозь землю...

— Съ постояннаго, частый начинай!

И навстрѣчу колоннѣ понесся свинцовый ливень...

Затрещали пулеметы...

Ихъ сухая дробь, такъ похожая на стукъ гигантской швейной машины, била по нервамъ своей однообразностью.

Въ бинокль можно было видѣть, какъ сразу разстроились

ряды наступавшихъ, какъ тщетно старались они перестроиться, отвѣчать на выстрѣлы...

Неожиданность нашего появленія, очевидно, разстраивала всѣ ихъ планы.

Люди метались безъ толку, сразу лишенные руководящей нити, и гибли, какъ стадо барановъ, подъ убійственнымъ свинцовымъ дождемъ...

Еще мгновенье, и ряды, дрогнувъ, бросились назадъ...

Колонна перестала существовать, и только груды труповъ свидѣтельствовали о страшной силѣ нашего огня...

Эта внезапная гибель, въ теченіе нѣсколькихъ минутъ, массы людей производила страшное, подавляющее впечатлѣніе.

Выстрѣлы затихли...

Откуда-то справа вылетѣла сотня казаковъ и помчалась вслѣдъ за отступавшимъ непріятелемъ...

Наша задача была закончена...

Солдаты окапывались, устраивались поудобнѣе, переобувались, перебрасывались обычными шутками, какъ будто происшедшее было обычнымъ дѣломъ, не составляющимъ ничего особеннаго.

Д. Романовъ.

ПЕРЕПРАВА.

(Изъ боевыхъ впечатлѣній).

Сквозь сѣрую мглистую вуаль тумана рельефно выдѣлялись тяжелые уступы поросшихъ густымъ лѣсомъ горъ.

Черныя, высокія ели, сплотившіяся въ одну непроницаемую стѣну, покрывали ихъ отъ основанія до вершины, и казалось, что это не горы, а какое-то громадное, невѣдомое чудовище, поросшее густой щетинистой шерстью.

Облака, почти сливающіяся съ вершинами, ползли, задѣвая и оставляя на соснахъ сѣрые клочья, похожіе на обрывки ваты и думалось, что не можетъ быть въ глубинѣ этого безконечнаго лѣса ни дорогъ, ни тропинокъ, и не можетъ жить тамъ никто, кромѣ дикихъ звѣрей.

А внизу, у подножья темныхъ великановъ, вспухшая отъ осеннихъ дождей рѣка, берега которой поросли плакучими ивами и высокой осокой.

Болотистое, открытое поле тянулось въ мутную даль, и только полуразрушенные остатки какой-то фермы чернѣли сквозь мелкую сѣтку назойливаго холоднаго дождя.

Война уже коснулась этихъ полей, она смела и разрушила все.

Превратились въ черныя обгорѣлыя развалины крестьянскіе домики, сгорѣли, какъ свѣчи, стоги неубраннаго сѣна, растоптано, смято и покинуто хлѣбное поле, а зеленые луга изрыты черными глубокими лентами стрѣлковыхъ окоповъ.

Рѣка несетъ свои воды такъ же спокойно, такъ же невозмутимо, какъ и прежде, но берега ея оживились теперь необычной, странной и лихорадочной жизнью.

По размякшимъ дорогамъ и прямо по лугамъ, зеленымъ и свѣжимъ, со всѣхъ концовъ тянутся густыя колонны массы людей, одинаково одѣтыхъ, съ одинаковыми лицами и одинаковой рѣшимостью въ глазахъ. Скрипя и грохоча колесами, скачутъ артил-

лерійскія батареи, ползутъ безконечные обозы и, переваливаясь съ боку на-бокъ по глубокимъ колеямъ, движутся сѣрыя коробки, обтянутыя парусиной, линейки Краснаго Креста.

Къ берегу подошли уже въ сумеркахъ. На противоположномъ берегу лѣсъ шумѣлъ неумолчно и внушительно, темные уступы горъ казались еще величественнѣе и мрачнѣе, ивы на берегу превратились въ темныя пятна и казались какими-то невѣдомыми, склонившимися къ водѣ чудовищами.

И берегъ ожилъ. Разводить костровъ было нельзя, и въ темнотѣ копошились тысячи человѣческихъ фигуръ, переговариваясь, суетясь, словно дѣлая какое-то громадное, общее и таинственное дѣло.

Рыли окопы... Сѣрыя фигуры людей, поснимавшихъ съ себя ранцы, вещевые мѣшки и составившихъ винтовки, копошились вдоль берега, небольшими лопатами взрывая мягкую, промокшую землю. Постепенно удлинялась и углублялась канава, выростало передъ ней прикрытіе, брустверъ, а люди, смѣняя одни другихъ, все продолжали свою работу, пока, наконецъ, не стало совсѣмъ темно и не раздалась команда, означавшая окончаніе работъ.

Окопы были готовы. Тогда люди спустились внизъ, сложили на мокрое дно свои мѣшки и, положивъ винтовки на брустверъ обращенными своими дулами въ темную даль на противоположный, таинственно молчаливый берегъ, усѣлись на холодной землѣ, прильнули къ ней грудью и стали ждать блѣднаго осенняго разсвѣта, первыхъ выстрѣловъ и, быть можетъ, недалекой смерти.

Ночь миновала. Разсвѣтъ, блѣдный, болѣзненный, озарилъ темныя горы, рѣку и изрѣзанный окопами берегъ. Все такъ же молчаливо сидѣли въ своей канавѣ люди, все такъ же безмолвно глядѣли другъ на друга съ противоположныхъ береговъ противники, словно ожидая, кто первый рѣшится нарушить тишину, кто первый броситъ черезъ рѣку вызовъ.

Къ берегу, изгибаясь подъ тяжелой ношей, тащили группы солдатъ громадные, тяжелые опрокинутые вверхъ дномъ понтоны.

Тогда щетинистое чудовище, словно отдыхавшее на другомъ берегу, пробудилось... Темныя безмолвныя горы проснулись, лѣсъ встрепенулся, взметнулъ нѣсколько вспышекъ пламени, и скалы отвѣтили ему громкимъ перекликающимся эхомъ.

Воздухъ застоналъ, сквозь сѣтку дождя, сквозь сѣрыя, точно ватныя, облака въ туманъ противоположнаго берега понеслись стальные стаканы и съ визгомъ, съ завываніемъ и лязгомъ разо-

рвались надъ массами людей, столпившихся на берегу около черныхъ тупоносыхъ понтоновъ.

Тогда, откуда-то издалека, изъ мглы осенняго ненастнаго утра твердо, сухо и рѣшительно прозвучали шесть отвѣтныхъ выстрѣловъ.

Застонало все: поля, горы, лѣсъ и рѣка отъ грохота этихъ сцѣпившихся чудовищъ, завылъ воздухъ, и лязгъ, и грохотъ взрывовъ потонулъ въ этомъ страшномъ концертѣ, въ этой потрясающей гармоніи крови и смерти.

А внизу, на пологомъ берегу, такъ же спокойно и увѣренно, такъ же невозмутимо дѣлали свое дѣло. Понтоны уже отплыли. Какъ черные плавучіе островки, медленно двигались они, руководимые невѣдомо кѣмъ, къ другому берегу, двигались, тяжело нагруженные людьми, а надъ ними смыкался сплошной сводъ несущейся въ разныя стороны и съ грохотомъ рвущейся шрапнели.

Мы видѣли ихъ издалека съ вышки, откуда слѣдили за результатами нашей стрѣльбы, и чувство, которое мы испытывали, было подобно чувству игрока, поставившаго на свою лошадь все свое состояніе и ожидающаго увидѣть ее первой у столба. Это былъ азартъ, безграничное нетерпѣніе и волненіе, волненіе, которое рѣдко приходится испытывать, но которое захватываетъ все существо человѣка и владѣетъ имъ властно и нераздѣльно.

— Первый понтонъ присталъ!—отрапортовалъ, козыряя батарейному командиру, солдатикъ-наблюдатель, и всѣ вздохнули облегченно. Съ сердца спала громадная тяжесть: мы выиграли, мы счастливые игроки; наша лошадь первая у столба. На противоположномъ берегу разсыпались по зелени сѣрыя рубахи русскихъ солдатъ.

На берегу изъ черныхъ окоповъ затрещали ружейные выстрѣлы, запѣли визгливо и назойливо пули, а съ другой стороны, отъ опушки лѣса, такія же маленькія вспышки засѣвшихъ австрійцевъ. Но первый понтонъ уже присталъ, вслѣдъ за нимъ подплываетъ второй, на серединѣ рѣки чернѣлъ третій, а отъ нашего берега снова отплывали еще два, полные людей и саперныхъ принадлежностей.

А темный лѣсъ, въ которомъ засѣли австрійцы, словно озлобился на незванныхъ пришельцевъ и гремѣлъ частыми орудійными выстрѣлами, сливавшимися въ одинъ гулъ, злобный, безсильно злобный.

По наведеннымъ мостамъ уже тянулась пѣхота. На занятомъ

берегу даже не разсыпались цѣпью, а просто шли бѣглымъ шагомъ, штыками впередъ, отгоняя отъ сѣрой ленты рѣки, отъ изрытаго снарядами берега, отъ легкаго, качающагося моста непріятельскихъ солдатъ въ синевато-сѣрыхъ мундирахъ и кожаныхъ ранцахъ.

Лѣсъ и горы, рѣка и широкія зеленыя поля, изрѣзанныя глубокими черными лентами покинутыхъ уже окоповъ, наконецъ, умолкли.

Сѣрыя колонны русскихъ прошли впередъ, миновавъ пылающій лѣсъ по глубокой долинѣ вслѣдъ за поспѣшно отступающимъ непріятелемъ; на берегу остались только саперы, разбиравшіе свои мосты, обозы и лазаретныя повозки, подбиравшія раненыхъ, да длинная вереница артиллеріи, съ трудомъ вытаскивавшая свои тяжелыя орудія изъ грязи размытой дождями дороги.

Прошли впередъ, а позади остались темныя горы и черная туча дыма.

Вадимъ Бѣловъ.

ЗАБЫТОЕ.

Разсказъ.

I.

Табаренъ былъ очень цѣннымъ работникомъ для фирмы «Воздухъ и Свѣтъ». Въ его натурѣ счастливо сочетались всѣ необходимыя хорошему съемщику качества: страстная любовь къ дѣлу, находчивость, профессіональная смѣлость и огромное терпѣніе. Ему удавалось то, что другіе считали невыполнимымъ. Онъ умѣлъ ловить уголъ свѣта въ самую дурную погоду, если снималъ на улицѣ какую-либо процессію или проѣздъ высокопоставленныхъ лицъ. Однаково хорошо и ясно и всегда въ интересномъ раккурсѣ снималъ онъ всѣ заказы, откуда бы ни пришлось: съ крышъ, башенъ, деревьевъ, аэроплановъ и лодокъ. Временами его ремесло переходило въ искусство. Снимая научно-популярныя ленты, онъ могъ часами просиживать у птичьяго гнѣзда, ожидая возвращенія матери къ голоднымъ птенцамъ, или у пчелинаго улья, приготовляясь запечатлѣть вылетъ новаго роя. Онъ побывалъ во всѣхъ частяхъ свѣта, вооруженный револьверомъ и маленькимъ съемочнымъ аппаратомъ. Охоты на дикихъ звѣрей, жизнь рѣдкихъ животныхъ, битвы туземцевъ, величественные пейзажи,—все проходило передъ нимъ, сперва въ жизни, а затѣмъ на прозрачной лентѣ, и сотни тысячъ людей видѣли то, что видѣлъ сперва одинъ Табаренъ.

Созерцательный, холодный и невозмутимый характеръ его какъ нельзя болѣе отвѣчалъ этому занятію. Съ годами Табаренъ разучился принимать жизнь въ ея существѣ; все происходящее, все, что было доступно его наблюденію, оцѣнивалъ онъ какъ годный или негодный матеріалъ зрительный. Онъ не замѣчалъ этого, но безсознательно всегда и, прежде всего, взвѣшивалъ контрасты свѣта и тѣней, темпъ движенія, окраску предметовъ, рельефность и перспективу. Привычка смотрѣть, своеобразная жадность зрѣнія была его жизнью; онъ жилъ глазами, напоминая прекрасное, точное зеркало, чуждое отражаемому.

Табаренъ зарабатывалъ много, но съ наступленіемъ войны дѣла его пошатнулись. Фирма его лопнула; другія же фирмы сократили операціи. Содержаніе семьи стало дорого, вдобавокъ пришлось уплатить по нѣсколькимъ спѣшно предъявленнымъ векселямъ. Табаренъ остался почти безъ денегъ; похудѣвшій отъ заботъ, часами просиживалъ онъ въ кафе, обдумывая выходъ изъ тягостнаго, непривычнаго положенія.

— Снимите бой, — сказалъ однажды ему знакомый, тоже оставшійся не у дѣлъ, съемщикъ.—Но только не инсценировку. Снимите бой настоящій, въ десяти шагахъ, со всѣми его непредвидѣнными, натуральными положеніями. За негативъ дадутъ прекрасныя деньги.

Табаренъ почесалъ лобъ.

— Я думалъ объ этомъ,—сказалъ онъ.—Единственное, что останавливало меня, это—семья. Опасности привыкли ко мнѣ, а я къ нимъ, но быть убитымъ, оставивъ семью безъ денегъ,—нехорошо. Во-вторыхъ, мнѣ нуженъ помощникъ. Можетъ случиться, что раненый я брошу вертѣть ленту, а продолжать нужно. Наконецъ, вдвоемъ безопаснѣе и удобнѣе. Въ-третьихъ, надо получить разрѣшеніе и пропускъ.

Они замолчали. Знакомаго Табарена звали Ланоскъ; онъ былъ полякъ, съ дѣтства живущій за границей. Настоящую фамилію его: «Ланской»—французы передѣлали на «Ланоскъ», и онъ привыкъ къ этому. Ланоскъ напряженно думалъ. Идея боевой фильмы все болѣе плѣняла его, и то, что онъ высказывалъ вслухъ, не было, повидимому, внезапнымъ рѣшеніемъ, а ждало только подходящаго случая и настроенія. Онъ сказалъ:

— Давайте, Табаренъ, сдѣлаемъ это вмѣстѣ. Я одинокъ. Доходъ пополамъ. У меня есть небольшое сбереженіе; его хватитъ пока вашей семьѣ, а потомъ сосчитаемся. Не безпокойтесь, я дѣловой человѣкъ.

Табаренъ обѣщалъ подумать ичерезъ день согласился. Тутъ же онъ развилъ передъ Ланоскомъ планъ съемокъ: лента должна быть возможно полной. Они дадутъ полную картину войны, развертывая ее кресцендо отъ незначительныхъ, подготовляющихъ впечатлѣній до настоящаго боя. Ленту хорошо сдѣлать единственной въ этомъ родѣ. Игра ва-банкъ: смерть или богатство.

Ланоскъ воодушевился. Онъ заявилъ, что тотчасъ поѣдетъ и заключитъ предварительное условіе съ двумя конторами. А Табаренъ отправился хлопотать о разрѣшаніи военнаго начальства. Съ

большимъ трудомъ, путемъ множества мытарствъ, убѣждая, доказывая, прося и умоляя, получилъ онъ, наконецъ, черезъ двѣ недѣли желанную бумагу, затѣмъ успокоилъ, какъ могъ, жену, сказавъ ей, что получилъ недолгосрочную командировку обычнаго характера, и выѣхалъ съ Ланоскомъ на боевыя поля.

II.

Первая недѣля прошла въ усиленной и безпокойной работѣ, въ посѣщеніяхъ мѣстностей, затронутыхъ войной, и выборѣ среди изобилія матеріала—самаго интереснаго. Гдѣ верхомъ, гдѣ пѣшкомъ, гдѣ на лодкахъ или въ солдатскомъ поѣздѣ, часто безъ сна и впроголодь, ночуя въ крестьянскихъ избахъ, каменоломняхъ или въ лѣсу, съемщики наполнили шестьсотъ метровъ ленты. Здѣсь было все: деревни, сожженныя пруссаками; жители-бѣглецы, рощи, пострадавшія отъ артиллерійскаго огня, трупы солдатъ и лошадей, сцены походной жизни, картины мѣстностей, гдѣ происходили наиболѣе славные бои, плѣнные нѣмцы, отряды зуавовъ и тюркосовъ; словомъ—вся громада борьбы, включительно до переноски раненыхъ и снимковъ операціонныхъ помѣщеній на ихъ полномъ ходу. Не было только еще центра картины — боя. Невозмутимо, какъ привычный хирургъ операціоннаго стола, Табаренъ вертѣлъ ручку аппарата, и глаза его вспыхивали живымъ блескомъ, когда яркое солнце помогало работѣ или случай давалъ живописное расположеніе живыхъ группъ. Ланоскъ, болѣе нервный и подвижной, вначалѣ сильно страдалъ; часто, при видѣ разрушеній, нанесенныхъ нѣмцами, проклятія сыпались изъ его горла столь же выразительнымъ тономъ, какъ плачъ женщины или крикъ раненаго. Черезъ нѣсколько дней нервы его притупились, затихли—онъ втянулся, привыкъ и примирился со своей ролью—молча отражать видѣнное.

Наступилъ день, когда съемщикамъ надлежало выполнить самую трудную и заманчивую часть работы: снять подлинный бой. Дивизія, близъ которой остановились они въ маленькой деревушкѣ, должна была утромъ атаковать холмы, занятые непріятелемъ. Ночью, нанявъ телѣгу, Табаренъ и Ланоскъ отправились въ цѣпь, гдѣ съ разрѣшенія полковника присоединились къ стрѣлковой ротѣ.

Ночь была пасмурная и холодная. Огней не разводили. Солдаты частью спали, частью сидѣли еще группами, разговаривая о дѣлахъ походной жизни, стычкахъ и ранахъ. Нѣкоторые спрашивали Табарена—не боится ли онъ. Табаренъ, улыбаясь, отвѣчалъ всѣмъ:

— Я только одного боюсь: что пуля пробьетъ ленту.

Ланоскъ говорилъ:

— Трудно попасть въ аппаратъ: онъ маленькій.

Они закусили хлѣбомъ и яблоками и улеглись спать. Табаренъ скоро уснулъ; Ланоскъ лежалъ и думалъ о смерти. Надъ головой его неслись тучи, гонимыя рѣзкимъ вѣтромъ; вдали гудѣлъ лѣсъ. Ланоскъ не боялся смерти, но боялся ея внезапности. На тысячи ладовъ рисовалъ онъ себѣ этотъ роковой случай, пока съ востока не побѣлѣлъ воздухъ и синій глазъ неба скользнулъ кое-гдѣ среди сѣрыхъ, облачныхъ армадъ, густо валившихся за холмистый горизонтъ.

Тогда онъ разбудилъ Табарена и осмотрѣлъ аппаратъ.

Табаренъ, проснувшись, прежде всего осмотрѣлъ небо.

— Солнца, солнца!—нетерпѣливо вскричалъ онъ.—Безъ солнца все будетъ смазано; здѣсь некогда долго выбирать позицію и находить фокусъ!

— Я съѣлъ бы эти тучи, если бы могъ! — подхватилъ Ланоскъ.

Они стояли въ окопѣ. Слѣва и справа отъ нихъ тянулись ряды стрѣлковъ. Лица ихъ были серьезны и дѣловиты. Черезъ нѣсколько минутъ вой первой шрапнели огласилъ высоту, и въ окопъ, послѣ грознаго треска, сыпнулъ невидимый градъ. Два стрѣлка пошатнулись, два упали. Бой начался. Гремѣли раскаты ружейнаго огня; сзади, поддерживая пѣхоту, потрясали землю артиллерійскіе выстрѣлы.

Табаренъ, установивъ аппаратъ, внимательно вертѣлъ ручку. Онъ наводилъ объектъ то на раненыхъ, то на стрѣляющихъ, ловилъ целлулоидомъ выраженіе ихъ лицъ, позы, движенія. Обычное хладнокровіе не измѣнило ему, только сознаніе заработало быстрѣе, время какъ бы остановилось, а зрѣніе удвоилось. По временамъ онъ топалъ ногой, вскрикивая:

— Солнца! Солнца!

На него не обращали вниманія. Солдаты, перебѣгая, толкали его, и тогда онъ крѣпко цѣплялся за аппаратъ, опасаясь за его цѣлость. Ланоскъ сидѣлъ, прижавшись къ стѣнкѣ окопа.

По окопамъ, заглушаемая выстрѣлами, передалась команда. Отрядъ шелъ въ атаку. Солдаты, перелѣзая черезъ брустверъ, бросились бѣжать къ холмамъ, молча, стиснувъ зубы, съ ружьями на перевѣсъ. Табаренъ, держа аппаратъ подъ мышкой, кинулся бѣжать за солдатами, пересиливая одышку. Ланоскъ не отставалъ; онъ былъ блѣденъ, возбужденъ и на бѣгу, не переставая, кричалъ:

— Ура, Табаренъ! Лента и Франція увидятъ чертовскій ударъ нашего штыка! А ловко я это выдумалъ, Табаренъ? Опасно... но,

чортъ возьми—жизнь вообще опасна! Смотрите, что за молодцы бѣгутъ впереди! Какъ у этого блестятъ зубы! Онъ смѣется! Ура! Мы снимемъ побѣду, Табаренъ! Ура!

Они слегка отстали, и Табаренъ пустился бѣжать изо всѣхъ силъ. Пули срѣзывали у его ногъ траву, свистали надъ головой, и онъ страшной силой заставилъ молчать сознаніе, твердящее о внезапной смерти. Чѣмъ дальше, тѣмъ чаще встрѣчались ему лежащіе ничкомъ, только-что опередившіе его въ бѣгѣ солдаты.

На гребнѣ холма показались нѣмцы, поспѣшно выбѣгая навстрѣчу, стрѣляя на ходу и что-то выкрикивая. За минуту до столкновенія Табаренъ вырвалъ у Ланоска треножникъ и быстро, задыхаясь отъ бѣга, установилъ аппаратъ. Руки его тряслись. Въ этотъ моментъ ненавистное, упрямое, милое солнце бросило въ разрѣзъ тучъ желтый, живой свѣтъ, родивъ бѣгущія тѣни людей, ясность и чистоту дали.

Французы бились отъ Табарена въ пятнадцати, десяти шагахъ. Мелькающій блескъ штыковъ, круги, описываемые прикладами, изогнутыя назадъ спины падающихъ, повороты и прыжки наступающихъ, движеніе касокъ и кэпи, гнѣвная блѣдность лицъ,—все, схваченное свѣтомъ, неслось въ темную камеру аппарата. Табаренъ вздрагивалъ отъ радости при видѣ ловкихъ ударовъ. Ружейные стволы, паруя и поражая, хлопались другъ о друга. Вдругъ странное смѣшеніе чувствъ потрясло Табарена. Затѣмъ онъ упалъ, и память и сознаніе оставили его, лежащаго на землѣ.

III.

Когда Табаренъ очнулся, то понялъ по обстановкѣ и тишинѣ, что лежитъ въ лазаретѣ. Онъ чувствовалъ сильную жажду и слабость. Попробовавъ повернуть голову, онъ чуть снова не лишился сознанія отъ страшной боли въ вискахъ. Забинтованная, не смертельно прострѣленная голова требовала покоя. Первый вопросъ, заданный имъ врачу, былъ:

— Цѣлъ ли мой аппаратъ?

Его успокоили. Аппаратъ подобралъ санитаръ; товарища же его, Ланоска, убили. Табаренъ былъ еще слишкомъ слабъ, чтобы реагировать на это извѣстіе. Волненіе, пережитое въ вопросѣ о судьбѣ аппарата, утомило его. Онъ вскорѣ уснулъ.

Рядъ долгихъ, скучныхъ, томительныхъ дней провелъ Табаренъ

на койкѣ, тщетно пытаясь вспомнить, какъ и при какихъ обстоятельствахъ получилъ рану. Пораженная память отказывалась заполнить темный провалъ живымъ содержаніемъ. Смутно казалось Табарену, что тамъ, во время атаки, съ нимъ произошло нѣчто удивительное и важное. Кусая губы и морща лобъ, подолгу думалъ онъ о томъ неизвѣстномъ, которое оставило памяти едва замѣтный слѣдъ ощущеній, столь сложныхъ и смутныхъ, что попытка воскресить ихъ вызывала неизмѣнно лишь утомленіе и досаду.

Въ концѣ августа онъ возвратился въ Парижъ и тотчасъ же занялся проявленіемъ негативовъ. То одна, то другая фирма торопили его, да и самъ онъ горѣлъ нетерпѣніемъ увидѣть, наконецъ, на экранѣ плоды своихъ трудовъ и скитаній. Когда все было готово, въ просторномъ залѣ собрались смотрѣть боевую фильму Табарена агенты, представители фирмъ, содержатели театровъ и кинематографовъ.

Табаренъ волновался. Онъ самъ хотѣлъ судить о своей работѣ въ полномъ ея объемѣ, а потому избѣгалъ смотрѣть ранѣе этого вечера готовую уже ленту на свѣтъ. Кромѣ того, его удерживала отъ преждевременнаго любопытства тайная, ни на чемъ, конечно, не обоснованная надежда найти на экранѣ, въ связномъ потвореніи моментовъ, исчезнувшій безслѣдно обрывокъ воспоминаній. Потребность вспомнить стала его болѣзнью, маніей. Онъ ждалъ и почему-то боялся. Его чувства напоминали трепетъ юноши, идущаго на первое свиданіе. Усаживаясь на стулъ, онъ волновался, какъ ребенокъ.

Въ глубокомъ молчаніи смотрѣли зрители сцены войны, добытыя цѣной смерти Ланоска. Картина заканчивалась. Тяжело дыша, смотрѣлъ Табаренъ эпизоды штыкового боя, смутно начиная что-то припоминать. Вдругъ онъ закричалъ:

— Это я! я!

Дѣйствительно, это былъ онъ. Французскій стрѣлокъ, изнемогая подъ ударами четырехъ пруссаковъ, шатался уже, еле держась на ногахъ; окруженный, онъ бросилъ вокругъ себя безнадежный взглядъ, посмотрѣлъ въ сторону, за раму экрана и, падая, раненый еще разъ, закричалъ что-то неслышное зрителямъ, но теперь до боли знакомое Табарену. Крикъ этотъ снова раздался въ его ушахъ. Солдатъ крикнулъ:

— Помоги землячку, фотографъ!

И тотчасъ же Табаренъ увидѣлъ на экранѣ себя, подбѣгающаго къ дерущимся. Въ его рукѣ былъ револьверъ, онъ выстрѣлилъ разъ и два и три, свалилъ нѣмца, затѣмъ схватилъ выпавшее ружье француза и сталъ отбиваться. И чувства жалости и гнѣва, бросившія его на

помощь французу—снова воскресли въ немъ. Второй разъ онъ измѣнилъ себѣ, измѣнилъ спокойному зрѣнію и профессіональной безстрастности. Волненіе его разразилось слезами. Экранъ погасъ.

— Боже мой!—сказалъ, не отвѣчая на вопросы знакомыхъ, Табаренъ;—лента кончилась... въ этотъ моментъ убили Ланоска... онъ продолжалъ вертѣть ручку! Еще немного — и солдата убили бы. Я не выдержалъ и плюнулъ на ленту!

А. С. Гринъ.

ТУРЕЦКІЯ КАРТИНКИ.

I.

«Турка куритъ трубку».

Въ глубинѣ залива бѣлѣетъ раскинувшійся амфитеатромъ городъ. Солнце сѣло, сумракъ быстро окутываетъ море и горы, и въ городѣ зажигаются огоньки. Гдѣ-то въ центрѣ амфитеатра они блестятъ группами, словно брилліанты.

Мало-по-малу брилліантовая линія огоньковъ расширяется въ цѣлое созвѣздіе, или, вѣрнѣе, въ млечный путь. Можно различить дома, уличные фонари, огни маяковъ у мола. Вся эта огненосная панорама какъ-то незамѣтно подплываетъ къ нашему пароходу. Красный и зеленый огни мола пробѣгаютъ мимо насъ, пароходъ поворачивается кормой къ берегу и останавливается въ нѣсколькихъ шагахъ отъ набережной, зачалившись кормой за берегъ.

Предъ нами Смирна. Попасть на берегъ, гдѣ ярко горятъ огни ресторановъ и кафе, однако, не такъ-то просто: надо сѣсть въ лодку и предварительно проѣхать съ полверсты къ турецкой таможнѣ, и лишь пройдя черезъ это отвратительно-грязное «чистилище», вы можете выбраться на набережную, которая сейчасъ совсѣмъ близко—рукой подать. И пока къ пароходу кидаются, какъ бѣшеные, лодочники, и пока у трапа происходитъ борьба не на-животъ, а на-смерть изъ-за багажа и пассажировъ, мы можемъ составить достаточно яркое представленіе о Смирнѣ и о туркахъ даже отсюда съ палубы нашего «Экватора».

Широкая, залитая огнями береговая полоса кажется какимъ-то яркимъ, пылающимъ сновидѣніемъ. Прямо предъ нами цѣлая вереница кафе съ безчисленными рядами стульевъ и столиковъ. Тутъ же сверкаютъ окна кинематографовъ и варьетэ съ греческими и турецкими вывѣсками. Все это какъ-будто наше, европейское, но нѣтъ-нѣтъ и проскользнетъ чуждая черта. Ѣдетъ извозчикъ и звонитъ въ колоколъ, точно трамвайный вагоновожатый. Сзади экипажа, вмѣсто номера, турецкая запятая съ точкой. Бѣжитъ вагончикъ конки—и кондукторъ вмѣсто того, чтобы звонить, наоборотъ, оретъ благимъ

матомъ по-турецки: «Сторонись!» Вагончикъ тоже какой-то странный, «не нашъ»—съ фестончиками кругомъ крыши, словно турецкій кіоскъ. Лошадь впряжена совсѣмъ несуразно: она бѣжитъ на довольно далекомъ разстояніи отъ вагона, какъ-будто привязанная къ вагону длинной веревочкой.

А въ кафе и на набережной сидятъ почтенные люди въ красныхъ фескахъ. Сидятъ неподвижно, точно нарисованнные. Сидятъ и курятъ.

Если бы меня спросили, какое главное (и почти исчерпывающее) впечатлѣніе отъ Смирны (да и вообще отъ всей Турціи), я бы отвѣтилъ:

— Турка куритъ трубку.

Куда ни оглянись, вездѣ кафе, и всюду сидятъ турки и курятъ трубки. И курятъ не попросту, какъ, напримѣръ, куритъ капитанъ «Экватора»: у того сразу видно, что куреніе для него дѣло побочное и второстепенное. Нѣтъ, здѣсь цѣлый символъ въ куреніи. Оно—симптоматично. Оно облечено важностью, какъ обрядъ. Курящій турка сидитъ, какъ мумія, закрываетъ глаза, почти не подаетъ никакихъ признаковъ жизни. И трубка у него необыкновенная—не-то что коротенькая и непрезентабельная носогрѣйка нашего капитана. Турка куритъ замысловатый и длинный кальянъ, представляющій собою цѣлый аппаратъ. Рукоятка кальяна отдѣлана алымъ бархатомъ, бронзовыми украшеніями. Первое впечатлѣніе такое, будто сидитъ сонный турка и сосетъ зонтикъ. Греми надъ нимъ громъ, разверзайтесь небеса, а онъ все будетъ сидѣть въ сонномъ состояніи и сосать замысловатый зонтикъ-кальянъ.

Кругомъ спущеннаго трапа цѣлая армія каюковъ, длинныхъ и острыхъ, какъ гондолы. Каюки сгрудились звѣздою, и кажется, что среди нихъ невозможно просунуться щепкѣ. Но вотъ въ нихъ почти съ полнаго хода врѣзается маленькій пароходъ. Вой, дикіе крики, визгъ... Пароходъ, однако, никого не ломаетъ и не топитъ и какъ, городничій, находитъ свое мѣсто въ этой кашѣ. И строго смотритъ на насъ сбоку его красный воспаленный глазъ. На трапѣ настоящее сраженіе: лодочники дерутся другъ съ другомъ, вырываютъ изъ рукъ чемоданы и швыряютъ ихъ въ каюки. Какой-то ловкачъ опускается съ палубы по канату прямо надъ головами—почти по головамъ. Какъ крупные подсолнечники, желтѣютъ внизу въ лодкахъ соломенныя шляпы пассажировъ и краснѣютъ фески.

Но вотъ я усаживаюсь въ узенькой гондолѣ, на сидѣньѣ, обитомъ краснымъ бархатомъ. Еще минута—и я какимъ-то чудомъ перенесенъ въ другой міръ, полупризрачный и сонный. Тишина, темнота, мягкое ласкающее покачиваніе. Отъ воды вѣетъ соленымъ ароматомъ моря.

Съ низкой набережной змѣятся по водѣ огненныя стрѣлы огней, и въ водѣ вырастаетъ, словно нашъ сказочный Китежъ, вторая сіяющая огнями Смирна. Гондола огибаетъ темное туловище парохода и скользитъ въ тьму, гдѣ маячатъ красный и зеленый огни таможни.

Переѣздъ коротокъ, какъ сонъ. Опять яркіе раздражающіе электрическіе фонари. Грязная набережная. Турецкіе солдаты въ папахахъ, похожіе немного на нашихъ казаковъ, но худые, невзрачные, затасканные, съ полумѣсяцемъ вмѣсто кокарды. Требуютъ паспортъ, находятъ какую-то неправильность и упрекаютъ съ страдальческимъ и раздраженнымъ видомъ... Потомъ солдатъ въ папахѣ пишетъ справа налѣво квитанцію для обратнаго пропуска,и я могу вступить въ Смирну.

Яркая набережная. Но за парапетомъ сразу темно, и только гдѣ-то вдалекѣ вспыхиваютъ мигающіе огоньки маяковъ. Направо, на берегу уже видѣнные мною съ парохода кафе, кинематографы и варьетэ... И опять неподвижныя фигуры турокъ, сосущихъ свои кальяны... Гудитъ румынская визгливая музыка. Въ одномъ кафе народу больше, музыка визгливѣе и огни ярче. Подаютъ кофе. Настоящій турецкій кофе,—въ микроскопической чашечкѣ, пламенно-горячій и приторно-сладкій. Его нельзя пить: пить нечего. Надо лизать. Надо сидѣть безконечно долго, съ соннымъ видомъ, не двигаясь, ни о чемъ не думая и, время-отъ-времени, лизать горячую и крѣпко-душистую влагу. Это называется пить кофе по-турецки... Въ то же время это называется вести турецкій образъ существованія, въ особенности, если прибавить сюда сосанье бархатнаго зонтика.

Турка куритъ трубку. Турка спитъ, и ему, вѣроятно, кажется, что и весь міръ спитъ. Во снѣ пришли и нѣмцы. Во снѣ «паша» Сандерсъ сталъ наводить свой порядокъ въ арміи, приказалъ выкинуть вонъ гвардейцамъ фески и надѣть башлыки въ формѣ нѣмецкой каски... И «Гебенъ» явился во снѣ... И все остальное...

То, что я видѣлъ въ Смирнѣ, было мѣсяцевъ пять тому назадъ. Очевидно, турки все это время курили трубку и видѣли во снѣ разныя интересныя вещи. И, въ концѣ-концовъ, прокурили и проспали всю имперію османлисовъ...

Теперь они просыпаются съ недоумѣніемъ и ужасомъ...

II.

Вокругъ древняго Иліона.

Ослѣпительный горизонтъ суживается и замыкается желтоватыми вблизи и голубыми издалека островами и полуостровами. То здѣсь,

то тамъ бѣлѣютъ маяки, окаймленные бѣлой кружевной пѣной. Впереди, между невысокими зелено-желтыми горами, открывается узкій проходъ. Похоже на Волгу—и по колориту береговъ, и по разстоянію между берегами. Это—Дарданелльскій проливъ...

При самомъ входѣ въ проливъ—первый привѣтъ намъ (пока еще безмолвный!)—турецкія пушки. Толстыя, приземистыя, похожія на чудовищъ, онѣ какъ-то лѣниво, по-турецки, валяются на землѣ между сѣрыми заборами бетонныхъ фортовъ и кустами зелени. Онѣ лежатъ и на томъ, и на этомъ берегахъ, и словно нюхаютъ, не пахнетъ ли чѣмъ-нибудь такимъ, во что надо немедленно стрѣлять.

Много вѣковъ тому назадъ, когда еще не было въ поминѣ ни пушекъ ни бетонныхъ укрѣпленій, этимъ желто-зеленымъ берегамъ уже были свойственны героическія и воинственныя впечатлѣнія и настроенія. Направо, еще до входа въ проливъ, находятся могилы Ахилла и Патрокла. А подальше отъ берега—на той же правой сторонѣ виднѣется холмъ Гиссарлыкъ, гдѣ нѣкогда стояла Троя. Если высадиться съ парохода въ городкѣ Дарданеллахъ (въ нѣсколькихъ километрахъ отъ входа въ проливъ), то можно нанять тамъ лошадей и проѣхать въ древній Иліонъ, тщательно раскопанный и изученный Шлиманомъ.

Мѣста знаменитыя! На этихъ именно равнинахъ, на этихъ плато, окруженныхъ желто-сѣрыми и зелеными горами, происходили гомерическіе бои грековъ съ троянцами. Гомерическіе бои изъ-за Елены... Въ наше время, въ тотъ моментъ, когда пишутся эти строки, здѣсь кипятъ (или готовы закипѣть не сегодня-завтра) еще болѣе гомерическіе бои, но уже не изъ за Елены, а изъ-за этихъ горъ, холмовъ и, самое главное, изъ-за пролива, на берегахъ котораго такъ соблазнительно поставить свои собственныя пушки...

Найдется ли новый Гомеръ и создастъ ли онъ новую Иліаду, въ которой будетъ разсказано о новыхъ неслыханныхъ бояхъ вокругъ стараго Иліона? Исторія завершила свой желѣзный кругъ, и на поляхъ иліонскихъ загорѣлась вторая троянская война. И что передъ ней ужасы первой троянской войны? Кости ахеянъ содрогнутся въ землѣ отъ одного гула нынѣшнихъ гаубицъ и мортиръ, а могилы Ахилла и Патрокла, быть можетъ, исчезнутъ среди безчисленныхъ новыхъ могилъ. Но еще долго мы не дождемся новаго Гомера, который воспоетъ все это...

Пароходъ двигается дальше, медленно втягиваясь въ узкій проходъ между прибрежными скатами. Берега суживаются еще болѣе. Не вѣрится, что здѣсь то же самое море,по которому мы плывемъ уже четвертый день изъ Неаполя—то же самое море, но только сдавлен-

ное тяжкими объятіями земли. Высокіе берега, въ прозелень-желтые, крутые, мѣстами совершенно пустынны. Кое-гдѣ бѣлѣютъ селенія съ высокими минаретами и такими же высокими и стройными кипарисами. И на каждомъ шагу лежатъ въ бетонныхъ логовищахъ пушки. Онѣ тупо смотрятъ впередъ, какъ мордастые псы, молчатъ... И солнце грѣетъ ихъ чугунные бока. Дарданеллы насыщены этой чугунной фауной.Но какъ ни зловѣщи эти турецкіе (или нѣмецкіе?) псы, невольно думается, что и они, подобно своимъ хозяевамъ, объяты постояннымъ сномъ...

Для того, чтобы разбудить ихъ, чтобы ткнуть имъ въ разнѣжившіеся подъ солнцемъ бока, чтобы раскрыть имъ сонныя глотки, нынче понадобилась посторонняя воля и чужой кнутъ. Тогда—нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ, пушки еще спали, и никому въ голову не приходило, что онѣ могутъ проснуться... Теперь онѣ проснулись, и началась новая война вокругъ Иліона.

Но мнѣ думается, что сами пушки удивлены такимъ поворотомъ дѣла и неохотно раскрываютъ спросонковъ свои пасти. Не удалось имъ доглядѣть до конца свои сны. Иліонъ возсталъ. Иліонъ гремитъ новыми неслыханными громами.

III.

Селямликъ.

Чудный майскій день. Пятница. У подъѣзда «Токатліана» цѣлая вереница извозчиковъ. Господа пріѣзжіе могутъ, если желаютъ, сѣсть на извозчика и поѣхать на торжество Селямлика. Пѣшеходовъ туда не пропускаютъ, но въ экипажѣ—кого угодно.

Между бѣлыми стрѣлами минаретовъ, между зелени кипарисовъ голубѣетъ ослѣпительный Босфоръ. Внизу, у линіи воды, бѣлѣютъ точеные изъ мрамора дворцы. Воздухъ насыщенъ золотомъ утренняго солнца и ароматомъ моря. Царь-градъ! Какъ это вѣрно, какъ хорошо сказано! Но въ чьихъ рукахъ этотъ царственный городъ! Въ какихъ небрежныхъ, вялыхъ, безпомощныхъ рукахъ, незнающихъ ему цѣны...

Мы сейчасъ увидимъ того, кто держитъ еще въ своихъ безпомощныхъ дланяхъ этотъ перлъ созданія.

Быстро проѣзжаемъ мимо бѣлыхъ стѣнъ Дольма-Бахче, мимо высокой глухой бѣлой стѣны султанскаго гарема и поднимаемся въ гору. Еще поворотъ—и надо выйти изъ экипажа и итти пѣшкомъ во

дворъ небольшой мечети, примыкающей къ старому султанскому дворцу, Ылдызъ-Кьоску.

Дворъ чистенькій, хорошо мощеный. Мечеть обычнаго типа, съ крыльцомъ, которое охватываютъ двѣ лѣстницы. Небольшая колоколенка минарета въ тѣни тополей и кипарисовъ. На дворѣ уже собралось порядочно публики: все больше нѣмцы и англичане. Двое турокъ въ безрукавкахъ и фескахъ старательно поливаютъ дворъ изъ ручного насоса. Публика, позѣвывая, переходитъ съ одной стороны двора на другую.

Насосъ унесли. Съ лѣстницы спустился толстый старый турокъ съ подстриженной бородой, въ длинноломъ черномъ сюртукѣ. Онъ вынесъ свертокъ ковровъ и сталъ разстилать ихъ на лѣстницѣ. Все это продѣлывалось съ соннымъ, почти безучастнымъ видомъ, точно ждали не самого султана, а какого-нибудь захудалаго и не очень уважаемаго посѣтителя, отъ котораго не дождешься приличнаго бакшиша. Потомъ пришелъ взводъ солдатъ въ фескахъ. Затѣмъ другой взводъ въ придуманныхъ Сандерсомъ идіотскихъ башлыкахъ. Солдаты сѣли на зеленый пригорокъ и стали дремать. По улицѣ наверху, повыше двора мечети, показалось шествіе съ блюдами изъ султанской кухни, приготовленными къ завтраку послѣ Селямлика. Блюда были покрыты черными покрывалами и очень походили на «шурумъ-бурумъ» татаръ-тряпичниковъ.

Послѣ долгаго ожиданія, когда публики набралось побольше (человѣкъ сто, не болѣе), во дворѣ и на прилегающей улицѣ началось нѣсколько большее движеніе. Войска выстроились на улицѣ и во дворѣ. Дремавшіе солдаты вскочили и вытянулись во фронтъ. И во дворъ одинъ за другимъ стали собираться сановники: явился Джемаль, съ черной, сѣдѣющей бородкой, показался «самъ» Энверъ—статный, но уже отяжелѣвшій «мрачный красавецъ», съ такими же, какъ у Вильгельма, усами. Пожаловали господа изъ посольствъ съ дамами. Одинъ изъ нихъ, молодой, надменный человѣкъ, съ приплюснутой верхней губой, втиснулъ свою даму въ первый рядъ, такъ что англичанки запротестовали: «О-о!».

Гдѣ-то вверху,—куда ушли передъ тѣмъ носильщики придворныхъ кушаній, послышались фанфары. Тамъ открылись ворота, и ряды войскъ склонили предъ выѣхавшимъ изъ воротъ султаномъ знамена (свои, не чужія!). Послышался веселенькій мотивъ чего-то напоминающаго польку, и экипажъ съ султаномъ куда-то исчезъ.

Спустя довольно долгое время изъ-за угла мечети на дворъ выскочила пара дивныхъ арабскихъ лошадей. Лошади были такъ прелестны,

что публика невольно сосредоточила на нихъ все свое вниманіе. Одна нѣмка изъ публики даже вздохнула на весь дворъ отъ восторга предъ лошадьми... Изъ-за лошадей всѣ мы какъ-то нечаянно прозѣвали, кого, собственно, онѣ везли. Мы обратили на него вниманіе только потомъ, когда экипажъ уже остановился у самой мечети.

Изъ экипажа сначала вылѣзъ видный мужчина въ красномъ мундирѣ, румяный и улыбающійся. Въ толпѣ кто-то сказалъ, что это наслѣдникъ. Затѣмъ изъ-за ослѣпительнаго краснаго мундира показался толстый, согбенный господинъ въ черномъ сюртукѣ, очень похожій на того турка, который разстилалъ на лѣстницѣ коверъ. У него была стриженая сѣдѣющая борода, тусклые глаза, отвисшая толстая губа.

Собравшіеся молчали. Военный оркестръ наигрывалъ свою веселенькую польку. Только сановники подошли къ согбенному турку съ отвислой губой и почтительно поздравили его съ праздникомъ. Но турокъ обратился къ нимъ не сразу: предварительно онъ подошелъ неровной походкой къ лошадямъ, похлопалъ ихъ по спинѣ и сдѣлалъ кучеру выговоръ за какой-то непорядокъ. И лишь послѣ того этотъ вялый и опустившійся человѣкъ въ невзрачномъ одѣяніи сказалъ нѣсколько словъ сановникамъ и раскланялся съ молчаливыми созерцателями изъ нашей толпы. Затѣмъ онъ повернулся къ крыльцу и ушелъ въ мечеть. Видно было, какъ онъ подошелъ къ окну и оттуда еще разъ заботливо посмотрѣлъ на своихъ лошадокъ.

Сановники и публика потоптались еще нѣсколько минутъ на дворикѣ, а затѣмъ розошлись. Праздникъ кончился.

И совершенно не вѣрилось, что этотъ тусклый, вялый, полумертвый старикъ въ длинномъ точно съ чужого плеча сюртукѣ, вѣроятно, больной и, несомнѣнно, очень ограниченный и живущій крохотными личными интересами,—что онъ никто иной какъ повелитель и глава «могущественной» Блистательной Порты...

Мнѣ казалось, что онъ спалъ тогда на ходу и видѣлъ во снѣ своихъ милыхъ лошадокъ... И ничего другого!

Зато не спали другіе...

IV.

Спящая душа Царьграда.

Нѣкоторые (а можетъ быть, и всѣ) города имѣютъ душу.

Душа города таится въ слѣдахъ прошлаго, въ старинныхъ зданіяхъ, обладающихъ чудеснымъ даромъ воскрешать преданія и минувшую жизнь, въ самихъ преданіяхъ, которыя окружаютъ городъ

нерукотворнымъ покровомъ царственнаго блеска и вѣютъ надъ нимъ словно пышныя знамена.

Многовѣковой городъ царя Константина, пышная древняя столица Юстиніана, великолѣпный Царьградъ, тоже имѣетъ душу. Его душа—страдающая и томящаяся въ неволѣ святая Софія.

Въ громадномъ, окруженномъ тополями желтомъ массивѣ, съ монументальчымъ круглымъ куполомъ и четырьмя чужими ненужными минаретами по сторонамъ, скрыта тоскующая душа плѣненнаго азіатами Царьграда. Старинный храмъ Юстиніана, перелицеванный въ чуждую его духу мечеть, какъ будто спитъ и во снѣ вспоминаетъ величавое и прекрасное прошлое: обѣдни Юстиніана, великолѣпіе византійскихъ службъ, прибытіе русскихъ пословъ князя Владиміра, ихъ изумленные взгляды и лица: «Братія, на землѣ мы, или на небѣ?...»

Прекрасное прошлое исчезло, и теперь, вотъ уже нѣсколько вѣковъ, въ храмѣ чужіе люди и чужія молитвы. Иновѣрцы сорвали христіанскія хоругви, замазали бѣлилами лики святыхъ, развѣсили свои зеленые щиты съ непонятными золотыми знаками и арабесками. И какъ печать, скрѣпляющую это кощунство, Омаръ приложилъ къ колоннѣ храма свою окровавленную руку. До сихъ поръ виднѣется на колоннѣ эта страшная, поблѣднѣвшая отъ времени, ладонь съ пальцами. Плѣненная св. Софія была кровью обращена въ магометанство. Чѣмъ она будетъ обратно крещена въ христіанство? Очевидно, тоже кровью.

Но это новое крещеніе непремѣнно состоится. Оно должно быть. Оно неизбѣжно и, вѣроятно, уже близко. Иначе не завершится непреложный кругъ бытія великаго храма.

Сами турки считаютъ, что ихъ владычество въ святой Софіи не вѣчно. И отчасти поэтому они держатъ великій храмъ въ возмутительной небрежности. Посмотрите, что они сдѣлали съ храмомъ въ былыя времена и что дѣлаютъ теперь. Они не только испортили его внѣшній и внутренній видъ, но и довели его до такой запущенности, что становится жутко и грустно...

Притворъ св. Софіи поражаетъ запустѣніемъ. Полъ исковерканъ, стѣны ободраны. Вмѣсто массивныхъ воротъ—убогія занавѣси, висячія цыновки, сквозь которыя надо пролѣзать въ храмъ, а не входить. Внутри храма мраморная облицовка колоннъ и стѣнъ потрескалась. Въ углахъ и между колоннами зіяютъ запыленныя и загрязенныя трещины. Полъ неровный, ступеньки, ведущія къ амвону, обиты, словно огрызены. Надъ головами висятъ безобразныя желѣзныя

люстры въ видѣ простыхъ обручей, запачканныя саломъ или масломъ.

И какая тишина, безлюдье кругомъ. Чувствуется, что здѣсь и богослуженія настоящаго не бываетъ. Гдѣ-то на клиросѣ голоситъ тоненькимъ голоскомъ мальчуганъ. Это ученикъ мѣстнаго медрессэ: онъ стоитъ на колѣняхъ, покачивается изъ стороны въ сторону и не то молится, не то зубритъ урокъ. Бродятъ нѣмцы съ желтыми усами и красными бедеккерами. Привели цѣлый рой дѣвочекъ-институтокъ изъ какого-то константинопольскаго учебнаго заведенія, очевидно, недостаточно проникнутаго духомъ истиннаго магометанства.

Дѣвочки въ коротенькихъ, почти балетныхъ юбочкахъ, въ бѣлыхъ башмачкахъ, съ открытыми черномазыми улыбающимися личиками. Онѣ перебѣгаютъ въ прискочку съ одной стороны храма на другую, то порознь, то вереницей, что-то разсматриваютъ вмѣстѣ съ своей классной дамой и снова прыгаютъ по пыльнымъ коврамъ, какъ миніатюрныя танцовщицы....

Тихо, пустынно... Это не храмъ, не церковь и даже не мечеть, а просто воспоминаніе о чемъ-то прекрасномъ, и великомъ, и священномъ. Или сонъ.

Какъ во снѣ, здѣсь скрадываются всѣ рѣзкіе и яркіе тона, и на всемъ лежитъ дымка мягкой акварельности. Громадный куполъ, словно предутреннее голубое небо, опрокинулся надъ средней частью храма. И въ его сдержанномъ мягкомъ свѣтѣ выступаютъ мягкія очертанія и блѣдныя краски колоннъ, карнизовъ и уцѣлѣвшихъ христіанскихъ мозаикъ.

Въ этой мягкости акварельныхъ тоновъ чувствуется тихая тоска, скорбное молчаніе одиночества и покинутости. Не надо праздничныхъ яркихъ тоновъ! Не надо ликующихъ красокъ! Не надо солнца и дня! Пусть будетъ темно и тихо. Святая Софія томится въ плѣну.

Душа Царьграда—великая и скорбная, исполненная задумчивой нѣжности и тихой, неослѣпительной, но проникновенной красоты—поистинѣ славянская душа. Не даромъ славяне всегда тяготѣли къ Царьграду: тутъ есть что-то неуловимо-мистическое, что объяснитъ и разгадаетъ намъ, быть можетъ, лишь исторія, и что, быть можетъ, случится очень скоро...

Но мнѣ кажется, что душа Царьграда еще спитъ въ этомъ царствѣ сна, въ этой фантастической имперіи, населенной не живыми людьми, но молчаливыми и неподвижными призраками. Она спитъ и грезитъ во снѣ о своемъ возрожденіи, о крестѣ, о православіи, о

новыхъ молящихся, которымъ суждено вызвать изъ глубины ея стѣнъ далекое эхо былыхъ византійскихъ молитвъ.

Когда я уѣзжалъ изъ Царьграда нынче лѣтомъ на паломническомъ русскомъ пароходѣ, мною овладѣло потрясающее, незабываемое настроеніе. Паломники служили на палубѣ вечерню. Громкое русское церковное пѣніе разносилось надъ Босфоромъ. Пароходъ уже шелъ мимо мраморныхъ дворцовъ все дальше и дальше отъ Стамбула, но св. Софію еще было видно. Въ этотъ мигъ я почувствовалъ душу великаго плѣненнаго города, и мнѣ стало ясно, что она тоскливо прислушивается къ пѣнію русскихъ паломниковъ.

Наступаютъ дни, когда душа Царьграда должна пробудиться отъ своего печальнаго сна. Придетъ русскій витязь и разбудитъ ее, свою Невѣсту, усыпленную мертвымъ сномъ въ дикомъ лѣсу магометанства. И святая Софія опять станетъ храмомъ, а не блѣднымъ воспоминаніемъ. Какой бы то ни было цѣной, но это должно быть совершено. Вѣдь здѣсь колыбель нашей русской вѣры. Здѣсь стояли послы Владиміра. Какъ же могло случиться, что не осталось здѣсь ихъ золотого слѣда? Тутъ двоякая небрежность: исторіи и насъ самихъ. Необходимо ее исправить: необходимо повернуть исторію къ ея логическому концу и пробудить святую Софію громомъ пушекъ и пѣніемъ молитвъ.

Б. Никоновъ.

ОТРАЖЕНІЯ.

Передо мною виситъ австрійская винтовка, заржавѣвшая и съ избитымъ ложемъ, австрійскій прострѣленный ранецъ, штыкъ и драгунская каска, а въ каждой сумочкѣ—двѣ пачки патроновъ, при чемъ одна пачка патроновъ съ темными ободками на мѣди: это пули думъ-думъ, которыми стрѣляютъ пруссаки.

Всѣ эти предметы я нашелъ на полѣ битвы возлѣ Равы-Русской. Нашъ непріятель бросалъ ихъ во время отступленія. Цѣлые возы оружія и аммуниціи непріятельской были свезены нами съ полей сраженія, и все же ихъ тамъ еще много; они валяются въ окопахъ и около окоповъ. Въ мѣдныхъ каскахъ и ранцахъ полевыя мыши устраиваютъ свои гнѣзда, а тысячи ружей и патроновъ ѣстъ ржавчина и вѣтеръ засыпаетъ землею и пескомъ.

Я смотрю на поднятые мною воинскіе доспѣхи, къ которымъ присоединилъ также и прострѣленную насковозь русскую флягу, и вижу Равское поле съ его высокими холмами и безконечными окопами, съ безкрестными и отмѣченными крестами могилами, съ гніющими не убранными трупами лошадей, которыхъ днемъ терзаютъ вороны, а ночью—волки, прибѣгающіе изъ лѣсовъ, за холмами съ юга.

Оттуда наступали на непріятеля русскія войска, такія же дружныя и непреклонныя, какъ эти хвойные лѣса, которые не сломятъ никакія бури.

Всѣ эти вещи, которыя я подобралъ, какъ никому ненужныя, и которыя мнѣ разрѣшили взять домой и сохранять на память, конечно, принадлежали разнымъ людямъ. Пожалуй, къ этимъ вещамъ можно присоединить и неотправленную открытку, адресованную какой-то Кларѣ Шютцъ. Только это имя и можно было разобрать на открыткѣ, остальное смыто дождемъ. Разнымъ людямъ принадлежали всѣ эти вещи, и, Богъ знаетъ, остались ли эти люди въ живыхъ. Но они были на этихъ поляхъ, и я вижу ихъ совсѣмъ такъ, какъ будто они передо мною живые.

И не только ихъ, но и сотни тысячъ подобныхъ имъ. Вижу огромную австрійскую армію подъ предводительствомъ генерала Ауфенберга, въ которой есть не только прусскіе солдаты, но и прусскіе офицеры, которые начинаютъ не довѣрять австрійцамъ.

Дѣйствительно, среди австрійскаго войска слишкомъ много славянъ, много русиновъ и поляковъ, которые ужъ слишкомъ часто сдаются въ плѣнъ русскимъ. Надо переслоить австрійскіе ряды прусскими солдатами, чтобы они безпощадно стрѣляли тѣхъ, кого швабы мысленно и между собою называютъ измѣнниками; надо безъ всякой пощады разстрѣливать всѣхъ, кто не только пожелаетъ сдаться, но и плохо сражается съ врагами.

Увы, прусская прослойка и прусскіе офицеры не помогли, и не потому не помогли, что ничего нельзя было сдѣлать съ австрійскими славянами, которые будто бы не желаютъ сражаться съ русскими войсками. Можетъ быть внутренно оно и такъ, но дисциплина военная держитъ ихъ въ такихъ мощныхъ тискахъ, что если они и сдаются, то потому, что не сдаваться, оказывается, нельзя. Это хорошо узнали, въ этомъ могли убѣдиться и сами пруссаки, попадавшіе въ плѣнъ вмѣстѣ съ австрійцами. Но безконечно больше, чѣмъ попадало ихъ русскимъ въ плѣнъ, безконечно больше погибало тѣхъ же австрійскихъ славянъ здѣсь, на поляхъ сраженія, и погибло съ воинской частью.

— Бездарность австрійскаго главнокомандующаго.

Нѣтъ, и этого нельзя сказать. Онъ дѣлалъ все, чтобы противустоять побѣдоносному напору врага, который скатывается на нихъ, какъ горящая лава.

Правда, австрійскіе стратеги не всегда предвидѣли удары, наносимые имъ русскими. Часто эти удары падали совсѣмъ не оттуда, откуда ихъ ждали. Очевидно, русскій генералъ, въ рукахъ котораго находились всѣ нити движенія русскихъ войскъ, былъ талантливѣе. Но вѣдь Ауфенбергъ въ послѣднее время не одинъ вырабатывалъ планы борьбы, а въ совѣтѣ все съ тѣми же пруссаками. И, надо отдать имъ справедливость, они, будучи у себя дома, имѣли средства распоряжаться мѣстомъ какъ хотѣли; они выбирали наиболѣе выгодныя позиціи, они заблаговременно имѣли возможность вырыть окопы въ тѣхъ направленіяхъ, въ какихъ считали это наиболѣе для себя выгоднымъ; они занимали лучшія высоты. Каждый домъ, каждое болотце и лѣсокъ служили имъ такъ, какъ они того желали, и люди, среди которыхъ они дѣйствовали, вѣдь это были ихъ подданные, въ каждой деревушкѣ, на каждой станціи и въ каждой усадьбѣ; вѣдь тамъ жили отцы, матери, дѣти, сестры и братья тѣхъ, кто сражался подъ знаменемъ съ австрійскимъ орломъ.

И, конечно, солдаты, родные этимъ людямъ, разбросаннымъ по деревушкамъ и хуторамъ, они старались изо всѣхъ силъ оградить ихъ отъ вражескаго нашествія, хотя бы ради того, чтобы потомъ имѣть

возможность, не краснѣя, вернуться въ родныя хижины и поля, вернуться не добровольно сдающимся плѣнникомъ, а хозяевами полей.

И они все дѣлали ради этого, что могли; они рыли окопы за окопами, мокли въ этихъ окопахъ по колѣна въ водѣ, голодные и усталые отъ жестокихъ пораженій и преслѣдованія, они посылали тысячами снаряды своихъ гаубицъ въ русскія войска, надвигавшіяся на нихъ непреоборимымъ грознымъ строемъ, поражали ихъ бѣшено разрывающимися шрапнелями, обливали огненнымъ дождемъ пулеметовъ, а тѣ все наступали и наступали, какъ будто ихъ велъ самъ Богъ, какъ разъ по тѣмъ путямъ, которые неизмѣнно вели къ побѣдѣ; и артиллерія ихъ метала свои смертельные снаряды съ такою вѣрностью, точно имъ помогалъ самый воздухъ, не допускавшій перелетовъ, и вѣтеръ, подхватывавшій ихъ тогда, когда они должны были упасть ближе, чѣмъ имъ было предназначено.

Австрійскіе окопы, начавшіеся отъ самаго Жолкева, перебѣгаютъ изъ полей къ лѣсамъ, минуютъ ихъ или скрываются въ нихъ, и опять выбѣгаютъ на просторъ, взбираются на взгорья, падаютъ со взгорьевъ въ низины.

А за ними неуклонно идутъ русскіе окопы. Мѣстами эти окопы такъ близки одинъ отъ другого, что волосы начинаютъ шевелитьсяна головѣ отъ одного представленія, какъ эти окопы создавались русскими.

Ясно, что было страшно трудно выбить австрійцевъ изъ занятыхъ ими позицій. Не помогала ни мѣткая артиллерійская стрѣльба ни хитрые пріемы, чтобы обмануть бдительность противника.

Послѣ безплодныхъ попытокъ въ этомъ направленіи, послѣ цѣлаго дня оглушительной канонады, измученные, насквозь промокшіе, солдаты наши съ наступленіемъ сумерекъ прекращали стрѣльбу и обманывали противника внѣшнимъ миромъ и спокойствіемъ.

Съ обѣихъ сторонъ загорались костры, около которыхъ грѣлись продрогшіе солдаты, варились щи и кипятилась вода для чая. Потомъ погасали костры, тьма окутывала оба враждебные лагеря, и лишь фонарики санитаровъ печально двигались на полѣ битвы, освѣщая мертвыхъ, которыхъ надо было до зари предать землѣ, и раненыхъ, которыхъ надо было подобрать и снести на перевязочный пунктъ.

И вотъ, въ то время, какъ австрійскія войска засыпали въ окопахъ и на землѣ, думая, что враги ихъ такъ же отдыхаютъ, какъ и они, наши солдаты ползли впередъ и, продвинувшись насколько возможно, рыли новые окопы, изъ которыхъ можно было бы безъ прежняго риска послѣ тщетныхъ попытокъ выбить непріятеля огнемъ, броситься на него въ атаку, въ штыки.

Вотъ что означаютъ эти частые окопы русскихъ войскъ! Вотъ какая непреоборимая, неустанная энергія скрывается за этими изломанными грядами земли. Тутъ каждая мелочь краснорѣчива, каждая, самая незначительная, вещица—говоритъ.

Около одного изъ окоповъ я увидѣлъ деревянныя ложки, тѣ самыя русскія деревянныя ложки, которыя наши солдатики носятъ за голенищами своихъ тяжелыхъ сапогъ.

Въ то время, какъ нѣмцы при такихъ обстоятельствахъ питаются консервами, жестяныя коробки отъ которыхъ валяются тысячами въ окопахъ и возлѣ окоповъ, наши солдатики любятъ похлебать щей и поѣсть каши. Когда возможно, имъ и доставляютъ эту роскошь изъ походныхъ кухонъ.

Несомнѣнно, такъ было и на этотъ разъ.

Почему же ложки валяются на землѣ?

Одно изъ двухъ: или рядомъ съ ужинавшими, а то и среди нихъ разорвался снарядъ и положилъ ихъ всѣхъ на мѣстѣ, или, что вѣрнѣе, такъ какъ окопъ этотъ очень близко расположенъ къ непріятельскому, раздалась команда:

— Въ атаку!

И ѣвшіе не успѣли спрятать ложекъ и ринулись на врага съ ощетинившимися штыками.

Понятно, что передъ такимъ войскомъ врага долженъ былъ временами охватывать суевѣрный ужасъ, и этотъ ужасъ читается по тѣмъ путямъ, гдѣ австрійцы бѣжали отъ нашихъ войскъ.

Эти пути были не только усѣяны трупами, которые они не успѣвали зарывать, ранеными, которыхъ они бросали вмѣстѣ съ санитарными повозками, стѣснявшими ихъ бѣгство, но и всѣмъ, что мѣшало этому бѣгству, до сапогъ включительно.

Такъ они добѣжали до Равы-Русской. Здѣсь они заняли такія выгодныя для себя высоты, что рѣшили, собравъ всѣ свои силы, попытаться отразить врага во что бы то ни стало.

Дальше отступать на сѣверъ было уже невозможно: они знали, что тамъ должна была находиться люблинская армія. Непріятель заходилъ имъ въ тылъ. Приходилось или умереть или сдать послѣднія поля Галиціи.

Они рѣшили лучше умереть и, дѣйствительно, боролись отчаянно, боролись вплоть до того дня, до того момента, когда, наконецъ, убѣдились, что дальнѣйшая борьба безсмысленна, что армія ихъ разбита.

Тогда они бросились бѣжать.

И вотъ, я точно вижу этого солдатика, ранецъ котораго сейчасъ лежитъ передо мною, когда, услышавъ русскіе грозные крики «ура»

и топотъ тысячи приближающихся ногъ, выскочилъ онъ изъ окоповъ, полныхъ труповъ своихъ товарищей, сбросилъ тяжелый ранецъ изъ телячьей кожи и пустился бѣжать въ паническомъ ужасѣ туда, куда бѣжали тысячи другихъ его товарищей, бросая свою аммуницію и зарядные ящики.

Артеллеристы изо всѣхъ силъ хлестали лошадей, чтобы онѣ скорѣе везли подъ гору тяжелыя орудія и пулеметы, послѣднюю опору и защиту на случай погони. Но сломалось колесо повозки, и орудіе пришлось бросить.

Тутъ же брошенъ телефонъ, по которому еле-еле успѣли дать знать штабу объ ужасномъ пораженіи.

Кавалерія, оставшись безъ прикрытія, тоже бросилась прочь отъ врага, и эта тяжелая каска съ чернымъ развивающимся султаномъ слетѣла съ драгуна въ то время, какъ конь его взвился на дыбы отъ удара острыхъ шпоръ и ринулся вдаль туда, куда спѣшили безпорядочно и растерянно остатки разбитыхъ австрійскихъ войскъ, туда, гдѣ синѣли родные Карпаты.

Солдаты бросаютъ свои винтовки. Тотъ, кто надѣется еще, что винтовка можетъ пригодиться, или считаетъ позоромъ бросить оружіе, которое должно быть священно для солдата, по-неволѣ отстаетъ отъ тѣхъ, кто бросилъ все и кому, такимъ образомъ, легче бѣжать.

Этихъ отсталыхъ нагоняютъ наши солдаты—колютъ ихъ штыками, рубятъ шашками.

На винтовкѣ, оставшейся у меня, глубокія царапины, какъ будто по ея деревянному ложу ударилъ острый русскій штыкъ и выбилъ ее изъ рукъ солдата.

И очень можетъ быть, когда я съ этой винтовкой проходилъ мимо вагона, гдѣ везли плѣнныхъ австрійскихъ солдатъ, среди нихъ былъ и хозяинъ этой винтовки, которому ничего не оставалось, какъ сдаться въ плѣнъ, оставшись безъ оружія.

***

Съ глубокимъ чувствомъ печали за пролитую кровь и за павшихъ и гордости за нашего солдата и за одержанную нами великую побѣду покидалъ я кровавое равское поле.

Съ благоговѣніемъ снялъ я шапку передъ этими жалкими, наскоро поставленными крестами и безкрестными могилами, въ которыхъ полегли и наши и враги и наши святые защитники.

Смерть примирила ихъ. Земля ихъ породнила. И можетъ быть, и дай Богъ, чтобы въ этихъ кровавыхъ жертвахъ былъ залогъ новой жизни для будущаго новаго братскаго единенія славянъ.

А. Ѳедоровъ.

РАЗСКАЗЪ О ВЕЛИКОМЪ ЗНАНІИ.

I.

Былъ у меня одинъ пріятель, человѣкъ души уязвленной и ума изступленнаго.

Былъ онъ весьма талантливъ и не такъ еще давно написалъ книгу, вызвавшую большой и даже необыкновенный шумъ. Многіе узрѣли въ немъ пророка, многіе безнравственнаго мерзавца и только нѣкоторые—человѣка глубочайшей ироніи. Врядъ ли не я одинъ понялъ, что книга эта (кстати сказать, характера мрачнаго и даже нигилистическаго въ глубочайшемъ смыслѣ этого слова) была просто крикомъ сердца измученнаго, души извѣрившейся, разума, смѣющагося надъ самимъ собою.

Я не вполнѣ знаю его біографію. Извѣстно только, что родился онъ гдѣ-то въ захолустномъ городишкѣ, въ семьѣ мелкаго чиновника, дѣтство провелъ болѣзненное и заброшенное, ибо матери лишился что-то очень рано и остался на рукахъ няньки, совершенно простой бабы, изъ солдатокъ, которая къ тому же любила выпивать не въ мѣру.

Какимъ образомъ у него появилось это непомѣрное, можно сказать, трагическое самолюбіе и мечты о власти необычайной, сказать трудно, принимая во вниманіе наслѣдственность мелкаго чиновника, бѣдность, заброшенность и воспитаніе няньки, солдатки и пьяницы.

Не менѣе трудно опредѣлить, откуда явилась непобѣдимая пытливость ума, склонность къ мечтаніямъ, незаурядная воля и талантливость натуры вообще.

Надо сознаться, что мы еще очень далеки отъ проникновенія въ подлинныя тайны человѣческаго «я».

Трудность же анализа, даже для меня, человѣка... впрочемъ, это все равно... трудность анализа усугублялась тѣмъ, что онъ не любилъ и даже не умѣлъ разсказывать о себѣ. Какъ-то такъ выходило, что во всемъ его дѣтствѣ не было ничего замѣчательнѣе любви къ дворовымъ собакамъ и первой книги, прочитанной имъ лѣтъ семи отъ роду, а именно—сочиненій Марка Твэна.

Нѣсколько разъ, правда, онъ разсказывалъ при мнѣ одинъ эпизодъ, случившійся въ годъ смерти матери, когда ему было не больше двухъ лѣтъ, и разсказывалъ даже съ большимъ удовольствіемъ. Но

я никакъ не могъ понять, чѣмъ замѣчателенъ этотъ случай и какіе выводы на немъ можно построить.

Желая быть объективнымъ, однако, эпизодъ этотъ воспроизведу, хотя, повторяю, не вижу въ немъ ничего достопримѣчательнаго.

Дѣло было такъ: въ яркій солнечный день мальчикъ этотъ, двухъ лѣтъ отъ роду, сидѣлъ гдѣ-то на дворѣ и мылъ въ лужѣ свои собственныя штанишки; жилъ же въ ихъ дворѣ какой-то отставной и выжившій изъ ума профессоръ, длинный и сухой нѣмецъ, всегда ходившій въ длиннѣйшемъ черномъ сюртукѣ; оный нѣмецъ наткнулся на мальчика и спросилъ его:

— Что ты дѣлаешь? Малщикъ, маленькій малшикъ?

На это мальчикъ весьма разсудительно и солидно объяснилъ, что моетъ онъ свои штанишки, такъ какъ мамы у него нѣтъ и, если онъ самъ о себѣ не позаботится, то такъ и будетъ ходить въ грязныхъ штанишкахъ.

Тогда нѣмецъ тяжко вздохнулъ, кряхтя полѣзъ въ задній карманъ своего безконечнаго сюртука, вытащилъ длинный фуляровый краснаго цвѣта платокъ и приложилъ къ глазамъ. Потомъ погладилъ мальчика по головѣ, сказалъ:

— Бѣдный малшикъ!

И отошелъ.

Вотъ и весь эпизодъ! И я, ей Богу, не понимаю, какой можетъ быть въ немъ особый смыслъ, чтобы разсказывать его съ такимъ многозначительнымъ наслажденіемъ.

О послѣдующей его жизни знаю уже совсѣмъ мало. Знаю только, что гимназіи онъ не кончилъ, шалуномъ и драчуномъ былъ отъявленнымъ, съ явнымъ стремленіемъ вѣчно быть вождемъ, чѣмъ главнымъ образомъ и объяснялись всѣ его выходки, иногда для дѣтскаго возраста и совсѣмъ нелѣпыя.

Такъ, напримѣръ, будучи въ пятомъ, кажется, классѣ, идя однажды ночью по полю, усмотрѣлъ онъ огромную вывѣску, съ надписью: мѣсто для свалки навоза. Немедленно отодралъ онъ огромную доску отъ столба, съ величайшимъ трудомъ притащилъ въ городъ и прибилъ на воротахъ городского кладбища. Зачѣмъ?.. Неизвѣстно!..

По выходѣ изъ гимназіи куда-то отправился учиться живописи, гдѣ-то голодалъ, едва не сдѣлался шуллеромъ, зарабатывалъ на жизнь, рисуя увеличенные портреты и каррикатуры въ уличныхъ листкахъ, и вдругъ неожиданно всплылъ на верха литературы и весьма скоро сталъ извѣстенъ у насъ, а послѣ своей пресловутой

книги, съ идеей которой я совершенно не согласенъ, прогремѣлъ даже и за границей.

Былъ онъ весьма меланхоличенъ и замкнутъ, хотя и высказывался весьма откровенно. Думаю однако, что откровенность была только кажущаяся, а самое главное, безъ чего все остается ложью, онъ всегда таилъ.

Когда я съ нимъ познакомился, былъ онъ въ угарѣ увлеченія женщинами. Былъ же онъ сладострастенъ несомнѣнно. Глупыя женщины льнули къ нему со всѣхъ сторонъ, прельщенныя его извѣстностью и нѣкоторой оригинальностью манеръ и внѣшности, и бралъ онъ ихъ всѣхъ безъ разбора, даже до странности.

Послѣ нѣсколькихъ лѣтъ форменнаго распутства вдругъ объявился женоненавистникомъ и даже сталъ жестокъ, хотя и не безъ странностей: явно презирая женщинъ, умилялся каждой милой женской чертѣ, явно издѣваясь надъ ними, былъ иногда излишне даже мягокъ и жалостливъ до сентиментальности.

Впрочемъ, въ этой сентиментальности было нѣчто, что наблюдается у закоренѣлыхъ и хладнокровныхъ убійцъ, которые, вырѣзавъ на своемъ вѣку десятки людей, вдругъ сюсюкаютъ надъ какимъ-нибудь слюнявымъ младенцемъ или шелудивымъ щенкомъ.

Вотъ и все, что я могу сказать о немъ.

Къ тому же времени, отъ котораго хочу начать разсказъ о его странномъ и страшномъ концѣ, вдругъ явилась у него потребность одиночества, и уѣхавъ въ глухую провинцію, поселился онъ въ уединенной барской усадьбѣ, въ которой даже и мебели порядочной не было.

Туда-то, по нѣкоторымъ обстоятельствамъ, о которыхъ, какъ о неидущихъ къ дѣлу, распространяться не буду, пріѣхалъ къ нему и я.

II.

Усадьба была окружена глухимъ сосновымъ лѣсомъ, въ которомъ еще сохранились слѣды бывшаго когда-то парка и кое-гдѣ еще попадались разбитые амуры и Венеры безъ носовъ.

По ночамъ во тьмѣ, когда начинали шумѣть сосны и казалось, что обезображенные Венеры и амуры движутся въ темнотѣ, бывало прямо-таки жутко.

Комнаты были обширны, но обставлены самыми плачевными остатками мебели, такъ что въ залѣ, напримѣръ, стоялъ всего-навсего одинъ древнѣйшій зеленый штофный диванъ, изъ котораго

крысы повытаскали всю набивку и который иногда даже безо всякой видимой причины начиналъ звенѣть всѣми своими многочисленными пружинами.

Спали мы на разныхъ концахъ дома, передъ сномъ же обычно сходились въ столовой, ужинали и спорили о вопросахъ чисто философскихъ, при чемъ онъ заявлялъ себя реалистомъ чистѣйшей воды, хотя тайнъ и не отрицалъ и узокъ не былъ. Матеріалистомъ я бы его не назвалъ, ибо матеріалистъ ограниченъ и все знаетъ и все объясняетъ, а онъ допускалъ неограниченность тайнъ и возможность невозможнѣйшаго.

Думаю, что могу прямо перейти къ той непонятной ночи, которую попытаюсь объяснить только въ концѣ, а пока предоставлю принимать, какъ угодно.

Передъ этимъ нѣсколько дней онъ былъ очень задумчивъ и раздражителенъ, а въ этотъ вечеръ мы много спорили и между прочимъ коснулись вопроса объ удивленіи. Я утверждалъ, что ничему удивляться не могу, ибо и самое невозможное возможно, и что бы я ни узналъ и ни увидѣлъ, хотя бы и самого чорта, приму какъ фактъ, доселѣ мнѣ неизвѣстный, но вытекшій изъ законовъ, несомнѣнно существующихъ.

Вотъ тутъ-то меня поразила его улыбка. Онъ улыбнулся такъ, какъ-будто ловилъ меня на словѣ.

— И такъ, вы ничему не способны удивиться?

— Конечно!

— Но въ такомъ случаѣ вы и ужаснуться не можете?

— Да. Я могу испугаться явной опасности, но не непонятнаго, какъ бы ни было оно странно.

Тогда онъ закивалъ головой съ явнымъ, но совершенно непонятнымъ мнѣ въ ту минуту удовольствіемъ и какъ-то ужъ очень скоро распрощался и ушелъ къ себѣ.

Я легъ на кровать одѣтый, началъ было читать, но незамѣтно уснулъ, забывъ даже погасить лампу.

Спалъ я, должно быть, недолго и проснулся отъ неопредѣленнаго ощущенія какого-то безпокойства.

Когда я открылъ глаза, онъ стоялъ въ ногахъ моей кровати и, замѣтивъ, что я не сплю, сказалъ:

— Я хотѣлъ попросить васъ встать и пойти со мною.

Я всталъ, нѣсколько встревожившись: отъ такого человѣка можно было ожидать всевозможныхъ неожиданностей. Къ тому же лицо его меня поразило.

Было оно чрезвычайно блѣдно, съ синими кругами подъ глазами, но въ то же время странно восторженно. Почему-то мнѣ пришло въ голову, что такое замученное и восторженное лицо должно быть у какого-нибудь алхимика, до смертельной усталости просидѣвшаго всю жизнь надъ труднѣйшими и опаснѣйшими изысканіями, когда вдругъ видитъ онъ, что вслѣдъ за послѣднимъ усиліемъ уже близко величайшее и вожделѣнное открытіе.

Я тотчасъ же всталъ и послѣдовалъ за нимъ, мгновенно почему-то рѣшивъ ничего не спрашивать и приготовиться ко всему.

III.

Еще изъ коридора увидѣлъ я, что дверь въ залъ, обычно темный, освѣщена страннымъ зеленоватымъ свѣтомъ.

— Что это значитъ?—невольно вырвалось у меня, но онъ не отвѣтилъ и поспѣшно прошелъ впередъ.

Я вошелъ за нимъ.

И вотъ тутъ-то увидѣлъ я нѣчто весьма странное и даже совершенно непонятное.

Весь этотъ пустой и унылый залъ былъ освѣщенъ мутнымъ, зеленымъ и какъ бы студенистымъ свѣтомъ отъ высокихъ четырехъ подсвѣчниковъ, стоящихъ по всѣмъ угламъ.

Въ ихъ свѣтѣ было нѣчто противное, мертвое и даже какъ бы разлагающееся. Взглянувъ на его лицо, я замѣтилъ, что и оно, благодаря освѣщенію, приняло видъ трупа. Помню, что съ отвращеніемъ необъяснимымъ подумалъ, что, вѣроятно, и у меня такое же лицо.

Однако, почему-то не говоря ни слова, я сѣлъ на зеленый диванъ, едва не чихнувъ отъ поднявшейся пыли и невольно вздрогнувъ отъ жалобнаго звона всѣхъ его проржавѣвшихъ пружинъ.

Какое-то странное раздраженіе охватило меня. Мнѣ вдругъ стало все противно, ненужно и совершенно нелѣпо. Но въ то же время не хотѣлось ничего говорить и спрашивать, и, съ величайшимъ омерзѣніемъ стиснувъ зубы, я рѣшилъ сидѣть и молчать, какія бы глупости ни вздумалъ онъ выкинуть.

О своихъ личныхъ дальнѣйшихъ ощущеніяхъ ничего не могу сказать опредѣленнаго, ибо и помню все смутно. Въ послѣдующее время у меня было такое ощущеніе, какъ у человѣка, который, проснувшись, помнитъ, что видѣлъ какой-то скверный и страшный сонъ, но совершенно не можетъ вспомнить, что именно.

Я передамъ только то, что видѣлъ, прибавивъ, что помню от-

лично, какъ чувство невыносимаго отвращенія не оставляло меня все время, иногда доходя даже до положительной тошноты.

Какъ только я сѣлъ и замолкли застонавшія пружины, онъ всталъ посреди зала и поднялъ руку, какъ бы призывая ко вниманію. Жестъ показался мнѣ театральнымъ и противнымъ, какъ и все остальное, но лицо его я разсмотрѣлъ хорошо: оно было полно восторга неизъяснимаго, близкаго къ безумію, и глаза его блестѣли лихорадочно.

И какъ только онъ поднялъ руку, сейчасъ же ярче вспыхнулъ зеленый свѣтъ, и замѣтилъ я, что какъ бы малые зеленые огоньки пробѣжали вдоль его поднятой руки. Мнѣ послышалось, что сосны кругомъ дома зашумѣли усиленно и жалобно, какъ бы предостерегая.

И вмѣстѣ съ тѣмъ увидѣлъ я, что въ углу, за каждымъ свѣтильникомъ, появилось нѣчто... Было это неопредѣленно, подобно туманнымъ фигурамъ, весьма высокимъ и тощимъ, но колебалось, какъ водоросли въ водѣ, и расплывалось во всѣ стороны.

И я услышалъ его голосъ, восторженный, надорванный напряженіемъ неимовѣрнымъ:

— Я готовъ!

Въ ту же минуту замѣтилъ я, что на подоконникѣ отсѣчнаго наглухо запертаго венеціанскаго окна что-то появилось.

Сосны зашумѣли еще протяжнѣе и жалобнѣе.

На окнѣ сидѣло нѣчто чрезвычайно неопредѣленное... Какъ бы огромное студенистое и зеленоватое брюхо, съ весьма отчетливо видимымъ пупкомъ. Ясно былъ виденъ этотъ пупокъ и жирныя складки, свисавшія съ подоконника. Но выше едва намѣчалось, то выступая, то совсѣмъ выпадая, нѣкое лицо. Чертъ его я не могъ разобрать, несмотря на всѣ усилія. Къ тому же тошнота поднялась къ самому горлу и, помню, я съ большимъ спокойствіемъ подумалъ:

«Надо бы касторки принять!»

Между тѣмъ, зеленый свѣтъ то разгорался, то погасалъ; зеленыя тѣни по угламъ за свѣтильниками колебались, растягивались, выступали и пропадали; то ярче, то прозрачнѣе намѣчалось огромное надутое чрево на окнѣ. Временами оно блестѣло отъ жира и было мясисто, временами дѣлалось какъ бы прозрачно, и сквозь него ясно были видны переплеты окна. Сосны шумѣли, и слышно было, какъ старая ель подъ самымъ окномъ мучительно скрипѣла.

Я ровно ничего не понималъ. Тишина стояла въ пустомъ залѣ мертвая. Но въ то же время какимъ-то внутреннимъ слухомъ въ глубокомъ молчаніи воспринималъ я какъ бы разговоръ двухъ голосовъ.

И вдругъ понялъ, что присутствую при церемоніи продажи души чорту и что отвратительное брюхо на окнѣ и есть чортъ.

Помню, что я не удивился, не испугался, принялъ это, какъ нѣчто самое естественное и возможное. Но сознаніе какой-то страшной роковой ошибки, полной ненужности и отвращенія, стало даже какъ бы нестерпимой грустью.

— Ты хочешь знать?—спрашивалъ нѣчто, какъ бы изъ всѣхъ угловъ.—Но великое знаніе умножаетъ скорбь, и печаль—удѣлъ мудраго!

— Знаю... хочу!—отвѣчалъ человѣческій голосъ, восторженный и отчаянный.

Свѣтильники вспыхнули ярче, брюхо на окнѣ выступило отчетливо, голо и нагло, лоснясь отъ жира.

— Ты не вынесешь всезнанія, ты—человѣкъ!—повторилъ голосъ.

— Знаю, хочу!—отвѣтилъ другой среди полнаго безмолвія, еще изступленнѣе.

Сосны зашумѣли какъ бы съ воплемъ и стенаніемъ.

— Ты погибнешь!—сказала тишина.

— Знаю... хочу!—въ третій разъ услышалъ я голосъ, и это былъ уже не тотъ голосъ: это былъ мертвенный, какъ бы смертельно усталый шопотъ. Глубочайшее равнодушіе звучало въ немъ.

Ярко вспыхнули свѣтильники; надъ тѣнями въ углахъ выглянули какія-то отвратительныя ужасныя лица; голо и страшно выступило на подоконникѣ массивное чрево, сотрясшееся отъ смѣха. И надъ нимъ на одно мгновеніе показалось лицо, красоты поразительной, блеска нестерпимаго. Мнѣ почудилось, что было это лицо прекраснѣйшей изъ женщинъ въ соблазнительной и страшной красотѣ...

Я вскочилъ, самъ не зная почему... Мнѣ еще показалось, что прекрасное лицо женщины выразило скорбь неутолимую и жалость почти любовную.

Но вдругъ мракъ и тишина охватили меня.

Молча, съ душой потрясенной, я ощупью выбрался изъ зала. Ужасъ безсмыслія стоялъ за моей спиной.

Въ комнатѣ моей попрежнему горѣла лампа. Подушка была измята моей головой, книга лежала поверхъ одѣяла. Все было такъ просто, обычно и мило. Я бросился лицомъ внизъ на кровать и почувствовалъ, что тоска рветъ мое сердце. Мгновенно лицо мое стало мокро. Я плакалъ, рвалъ на себѣ волосы, бился лицомъ о подушку...

Я чувствовалъ, что нѣчто великое умерло сейчасъ, и я не могу никогда, никогда поправить какой-то ужасной ошибки...

IV.

Я проснулся поздно и не могъ понять, что со мной. Проснулся одѣтый, съ сознаніемъ чего-то ужаснаго, но не могъ осознать, сонъ или явь было то, что я видѣлъ ночью.

Кое-какъ умывшись, я вышелъ на террасу.

День былъ блѣдный и пасмурный. Небо было бѣло и непривѣтливо. Холодный вѣтеръ гналъ между соснами мелкую сухую пыль и кружилъ прошлогодними листьями. Странная пустота и тишина были вокругъ.

Страшное сознаніе полнаго одиночества въ мертвомъ пустомъ лѣсу охватило меня. Я крикнулъ его имя и испугался собственнаго голоса. Онъ прозвучалъ слабо, и никто не отвѣтилъ ему. Впервые я почувствовалъ такъ ясно, что громаденъ и безграниченъ міръ, и я одинъ—пылинка, которую вѣтеръ кружитъ среди мертвыхъ сосенъ.

Въ страшной тоскѣ я сбѣжалъ съ крыльца и бросился искать. Я стучалъ по соснамъ, кричалъ, звалъ, ругался, просилъ... Я готовъ былъ плакать, чтобы только показалось живое лицо.

И вдругъ увидѣлъ его.

Онъ шелъ среди сосенъ и смотрѣлъ прямо на меня. Я какъ-то не замѣтилъ, былъ ли онъ одѣтъ или нагъ, я видѣлъ только какъ бы идущее по воздуху отдѣленное отъ всего міра его лицо.

Я бросился къ нему и сталъ въ ужасѣ.

Мертвое, совершенно остеклѣвшее лицо блѣдно и медленно проплыло мимо меня. Еще увидѣлъ я его глаза: въ нихъ было мертвое равнодушіе... Ни тоски, ни страха, ни боли, ни отчаянія, ни одного человѣческаго чувства не было въ ихъ прозрачной, какъ бы всевидящей и ничего не отражающей глубинѣ. Они показались мнѣ совершенно пустыми, эти человѣческіе глаза!

Онъ прошелъ мимо и скрылся среди сосенъ. Я остался на мѣстѣ въ тупомъ и блѣдномъ забытьи. Сосны высоко стояли кругомъ, вѣтеръ крутилъ мелкую сухую пыль и листочки прошлогодней травы. Бѣлое небо слѣпо и равнодушно стояло высоко вверху, недосягаемое и пустое.

И вдругъ страшное бѣшенство охватило меня. Я весь затрясся.

«Онъ знаетъ все!»—вдругъ нелѣпо пронеслось у меня въ головѣ, и ужасъ этого всезнанія оледенилъ меня. Я почувствовалъ, что дол-

женъ бѣжать, долженъ во что бы то ни стало найти его, убить, уничтожить, растоптать ногами, какъ ядовитую гадину.

Въ ярости и дрожи ужаса я сорвался съ мѣста и побѣжалъ. Я бѣгалъ среди сосенъ, за домомъ, въ полѣ, пробѣжалъ всѣ комнаты, черезъ залъ, гдѣ унылымъ звономъ откликнулись на мой изступленный бѣгъ всѣ пружины стараго дивана... Я рыскалъ, какъ звѣрь, какъ сумасшедшій, и думалъ въ бѣшенствѣ только о томъ, что я не найду его и онъ останется жить... Онъ, съ этими пустыми глазами!

Помню, что, пробѣгая черезъ свою комнату, я безсознательно схватилъ тяжелый стальной стативъ отъ своего фотографическаго аппарата.

И я нашелъ его...

За сарайчикомъ для дровъ было у насъ отхожее мѣсто... Простая, неглубокая зловонная яма, черезъ которую была перекинута доска...

Онъ былъ тамъ: онъ сталъ на колѣни, прилегъ грудью на край ямы и погрузилъ голову въ зловонныя нечистоты...

Онъ былъ совершенно мертвъ!

V.

Конечно... Все это былъ сонъ!.. Но онъ дѣйствительно покончилъ жизнь такимъ страннымъ и непристойнымъ образомъ. Онъ даже и здѣсь, очевидно, стремился къ своеобразной оригинальности!

Теперь, вспоминая его, я вижу ясно, что это былъ деспотъ, свою прекрасную душу и громадный умъ отдавшій въ жертву неутолимаго стремленія къ міровой власти!

И къ тому же, какъ всѣ деспоты, онъ былъ позеръ, гнавшійся даже въ послѣднюю минуту за исключительной оригинальностью.

Все же ночное я видѣлъ во снѣ. Его навѣялъ мнѣ нашъ послѣдній разговоръ и та инстинктивная тоска, которую чувствуетъ все живое при приближеніи смерти, которая заставляетъ собакъ выть передъ покойникомъ.

Несомнѣнно, что въ эту ночь онъ обдумывалъ свое самоубійство, а я чувствовалъ это.

Чѣмъ была вызвана его позорная, малодушная смерть?.. Не знаю... Возможно, въ концѣ концовъ, что онъ былъ просто ненормаленъ.

Странности въ немъ всегда замѣчались.

М. Арцыбашевъ.

С О Н Ъ.

(Разсказъ).

I.

Мое отношеніе къ отцу всегда было очень страннымъ: я знала что имъ гордится весь ученый міръ, что это человѣкъ большого ума, и въ то же время чувствовала, что меня—свою дочь—онъ, хотя и любитъ, но не только не понимаетъ, а даже просто не знаетъ.

Отецъ окончилъ два факультета: математическій за границей и медицинскій—въ Россіи. Свою жену—мою мать—онъ крѣпко любилъ, и, тѣмъ не менѣе, я не могла себѣ представить людей болѣе разныхъ. Иногда мнѣ хотѣлось узнать, какимъ образомъ сначала вѣчный студентъ, а затѣмъ кабинетный труженникъ могъ сойтись съ урожденной графиней Савойской, красавицей и легкомысленной полькой. Но и съ матерью я была далека, а спросить объ этомъ больше ни у кого не могла...

Прежде, чѣмъ я родилась, отецъ и мать цѣлыхъ десять лѣтъ не имѣли дѣтей. У мамы были свои большія средства.

Воспитывала меня француженка —m-elle Marie, ласковая, не болтливая, серьезная; съ ней я каждый день ходила гулять. Въ гимназію меня не отдали; утромъ ко мнѣ приходили двѣ учительницы и старенькій преподаватель математики.

Ни журфиксовъ ни пріемовъ въ нашемъ домѣ не полагалось. Мать часто уѣзжала на полдня за покупками или въ польскій клубъ, отецъ читалъ лекціи, а m-elle Marie вязала кружева. Въ итогѣ—большая часть моей жизни, до пятнадцати лѣтъ, проходила въ полномъ одиночествѣ. Единственной моей радостью были книги, а единственнымъ товарищемъ—фокстерьеръ Трефъ.

Иногда, разъ или два въ году, у отца собирались нѣсколько профессоровъ и приватъ-доцентовъ. Говорили они всегда о спеціальныхъ вопросахъ и казались мнѣ очень скучными. Къ шестнадцати годамъ я прочла очень много и хорошо знала французскую литературу, проглотила я и всѣхъ современныхъ русскихъ авторовъ, даже и тѣхъ, которые считались неприличными,—мама русскихъ книгъ не читала,

а m-elle Marie не понимала и разрѣшала брать въ библіотекѣ все, что мнѣ угодно. Больше всѣхъ я любила Флобера, Мопассана и «Войну и миръ» Толстого. Всѣ герои этихъ авторовъ были для меня живыми людьми.

Съ ними я жила и видѣлась во снѣ. Самымъ труднымъ и непріятнымъ было для меня—просыпаться. Кроткая m-elle Marie иногда приходила въ отчаяніе.

Былъ у насъ еще одинъ пунктъ вѣчныхъ споровъ съ m-elle: это живые цвѣты, которые я всегда обожала, но зимой любила еще больше, чѣмъ лѣтомъ. Мнѣ нравилось вдыхать въ себя острый, горько-миндальный ароматъ туберозы. Помирились мы на томъ, что на ночь я должна была уносить эти цвѣты изъ комнаты.

Я замѣтила, что въ тѣ дни, когда я ихъ нюхала, я почти не замѣчала окружающихъ мелкихъ непріятностей, а ночью видѣла сны, необыкновенно интересные, иногда страшные, иногда полные неземной поэзіи. Замѣтила я еще, что и Трефъ, спавшій на коврикѣ возлѣ моей кровати, во снѣ иногда подвизгивалъ и весь дергался, точно хотѣлъ бѣжать. Можетъ, за это я очень любила его и считала своимъ самымъ настоящимъ другомъ.

Послѣ длиннаго и очень реальнаго сновидѣнія я часто не могла уже закрыть глазъ до самаго утра, а затѣмъ цѣлый день была блѣдная и вялая,—плохо училась тогда.

II.

Въ мартѣ я стала чувствовать себя совсѣмъ худо. Мать это замѣтила и сказала отцу; онъ пригласилъ извѣстнѣйшаго невропатолога, еще не стараго и красиваго. Было ужасно стыдно передъ нимъ раздѣваться.

Онъ скаталъ изъ бумажки длинный стержень и что-то писалъ имъ на кожѣ моего тѣла, щекоталъ мнѣ въ горлѣ и подносилъ электрическую лампочку къ самому глазу.

Мучилъ около часа.

Затѣмъ я узнала, что этотъ докторъ ничего опаснаго не нашелъ и посовѣтовалъ только, по возможности, каждый день кататься на конькахъ. Мама съ улыбкой передала мнѣ объ этомъ, а я спокойно отвѣтила:

— Какъ же это онъ, такой умный, и не сообразилъ, что теперь мартъ, и всѣ катки уже растаяли.

Въ этотъ день я чувствовала себя все хуже и хуже. Къ вечеру у

меня начала болѣть голова и давило горло такъ, что я подумала, ужъ не начинается ли ангина, а затѣмъ стало невыносимо скучно,—невыносимо...

Я ушла въ свою комнату, легла на кровать и взяла къ себѣ Трефа. Милый, онъ почувствовалъ мое состояніе и началъ лизать мою руку, но ласка моего друга не успокоила. Вся моя жизнь рисовалась необыкновенно безсмысленной, въ родѣ жизни какой-нибудь несчастной обезьяны въ клѣткѣ. И еще яснѣе стало, что и отецъ, и мать, и m-lle, и докторъ, который посовѣтовалъ весной кататься на конькахъ, всѣ они чужіе, чужіе...

Въ первый разъ въ жизни я разрыдалась, порвала на себѣ кофточку, всю меня трясло. M-lle испугалась, но я сквозь слезы умолила ее не звать маму и убѣдила, что это сейчасъ пройдетъ. Черезъ полчаса, я, дѣйствительно, окаменѣла. Автоматически одѣлась и пошла гулять съ m-lle. По дорогѣ купила на 3 рубля туберозъ. M-lle ничего не возразила. Когда мы вернулись, я взяла ванну, и мнѣ стало необыкновенно хорошо. Я угадала, что сегодня m-lle не прикажетъ мнѣ унести цвѣты.

Такъ оно и случилось.

Я сразу заснула; не крѣпко, но сладко. Увидѣла, будто иду по улицѣ совсѣмъ одна, и крѣпко обрадовалась своей свободѣ. Съ великимъ интересомъ вошла въ вагонъ трамвая и поѣхала по Загородному, увидѣла знакомый мнѣ Царскосельскій вокзалъ и очень удивилась: главный подъѣздъ весь былъ обтянутъ крепомъ, а вмѣсто извозчиковъ стояло нѣсколько каретъ скорой помощи и цѣлый рядъ автомобилей, и на каждомъ изъ нихъ красный крестъ въ бѣломъ кругѣ. За автомобилями виднѣлось море головъ. Конные городовые осаживали толпу. Нашъ вагонъ остановился, и я невольно изъ него вышла и направилась прямо къ вокзалу. Съ большимъ трудомъ мнѣ удалось протискаться и стать въ первомъ ряду. Все еще радовалась сознанію своей свободы, но въ эту радость вливался малопонятный ужасъ передъ чѣмъ-то, что должно сейчасъ случиться...

Головы вокругъ меня вдругъ зашевелились, и я увидѣла, какъ изъ дверей вокзала четыре человѣка вынесли на носилкахъ укутаннаго до пояса офицера. На головѣ у него была сѣрозеленая, одноцвѣтная фуражка. Я хорошо запомнила выраженіе его прекраснаго лица. Еще въ декабрѣ на выставкѣ я видѣла новую картину Нестерова и было на ней такое самое лицо, человѣческое, но неземное. Слышала я, какъ всунули носилки въ карету, сѣли туда еще два человѣка и щелкнула дверца. Мягко застучали копыта лошадей и неслышно тронулись колеса.

Я проснулась. Было уже свѣтло. M-lle храпѣла. Трефъ поставилъ переднія лапки на мою постель и внимательно глядѣлъ на меня. Вѣроятно, ему казалось, что я только что пережила что-то страшное, и слѣдуетъ меня отъ кого-то или отъ чего-то защитить. Странная это была собака. Кромѣ меня, онъ не признавалъ никого и даже на папу рычалъ. Достаточно было на улицѣ, чтобы ко мнѣ или m-lle подошелъ кто-нибудь знакомый, какъ Трефъ сейчасъ же становился между мной и этимъ человѣкомъ. Онъ не выносилъ, когда мнѣ подавали руку, и однажды пребольно укусилъ рѣдко приходившаго къ намъ младшаго брата матери,—дядю Болеслава.

Я приказала Трефу лечь на свой коврикъ. Онъ какъ-то печально послушался и свернулся калачикомъ. Я продолжала думать о сновидѣніи. Оно казалось мнѣ нелѣпымъ, но я не могла отдѣлаться отъ его реальности —не сомнѣвалась, что такой офицеръ гдѣ-то есть, и я рано или поздно его увижу.

Весь мартъ и апрѣль прошли относительно ровно.

III.

На первый день Пасхи у насъ было приказано не принимать никакихъ визитеровъ,но одинъ изъ нихъ все-таки проникнулъ въ гостиную. Онъ оказался маминымъ племянникомъ и пріѣхалъ изъ Кіева.

Мама называла его просто Стахомъ, хотя молодому графу Савойскому было уже, вѣроятно, лѣтъ двадцать пять, а можетъ и больше. Я церемонно поздоровалась съ нимъ и сѣла въ кресло. Одѣтый въ смокингъ, Стахъ показался мнѣ необыкновенно изящнымъ, а его голосъ взволновалъ меня—какъ и чѣмъ именно,—не знаю... Затѣмъ пріѣхалъ дядя Болеславъ, и въ первый разъ въ этомъ году за столомъ у насъ завтракало шесть человѣкъ.

Я любовалась Стахомъ, мнѣ безумно хотѣлось припомнить, на кого онъ похожъ, гдѣ я могла видѣть это лицо, но это не удавалось. Встали изъ-за стола и опять перешли въ гостиную; я обратила вниманіе на походку Стаха: ужъ слишкомъ прямо онъ держался и слишкомъ ровно ступалъ, точно военный, а между тѣмъ, я хорошо знала, что онъ помощникъ присяжнаго повѣреннаго. Въ тотъ моментъ, когда онъ началъ прощаться и, наклонивъ голову, опустилъ рѣсницы, я вдругъ поняла, что у него то самое и такое самое лицо, какое я видѣла тогда на носилкахъ во снѣ.

Жутко сдѣлалось, и рука Стаха показалась непріятно холодной.

Когда вечеромъ я легла въ постель, это лицо и на яву рисовалось

мнѣ еще яснѣе,—никогда еще ни одинъ человѣкъ не производилъ на меня такого сильнаго впечатлѣнія.

Оказалось, что Стахъ перешелъ изъ провинціи въ округъ петроградской судебной палаты. Онъ сталъ обѣдать у насъ каждое воскресенье, затѣмъ долго сидѣлъ у мамы въ будуарѣ или, если папы не было дома, игралъ на роялѣ въ гостиной. Въ первый разъ онъ показался мнѣ слишкомъ корректнымъ и слишкомъ заботящимся о своей внѣшности, но, когда пришелъ въ сѣромъ пиджакѣ и съ не совсѣмъ гладко причесанной головой, произвелъ впечатлѣніе скорѣе артиста.

Игралъ онъ безъ нотъ. Иногда подпѣвалъ самому себѣ мягкимъ несмѣлымъ баритономъ. Особенно хорошо выходилъ у него извѣстный романсъ и слова:

«Да какъ Стахъ шелъ на войну,
Въ чужедальнюю страну»...

Взявъ послѣдній аккордъ, онъ всегда оглядывался и такъ мило улыбался,—по-дѣтски.

Очень скоро я почуяла инстинктомъ, что я не чужая его сердцу, хотя мы и очень мало разговаривали. И почувствовала также, что онъ не чужой и сердцу моей матери.

Началась мука.

Я убѣждала себя, что ошибаюсь, но каждый день замѣчала все усиливавшуюся холодность мамы ко мнѣ. Я тогда была уже высокаго роста и вполнѣ развившейся дѣвушкой, но мама требовала, чтобы я носила короткія платья,—это злило.

Стахъ началъ бывать у насъ и по субботамъ, и моя совсѣмъ нерелигіозная мать отправляла меня ко всенощной.

Я жила тѣми немногими словами, которыя произносилъ Стахъ, когда мы случайно оставались одни. Жила я еще и снами, но они дѣлались все кошмарнѣе и кошмарнѣе.

Было еще одно обстоятельство, котораго, кромѣ меня, никто не замѣтилъ, но еще болѣе меня убѣдившее, что Стахъ не совсѣмъ обыкновенный человѣкъ. Трефъ первый приласкался къ нему и ни разу не только не зарычалъ, но даже не покосился на Стаха, который могъ его гладить совершенно свободно. До сихъ поръ только я одна могла прикасаться къ Трефу, не рискуя быть укушенной. Однажды Стахъ взялъ его на руки. Мама увидѣла это, замахала руками и закричала:

— Не трогайте его, не трогайте—укуситъ,—это такая поганая собака...

Но Трефъ только вилялъ обрубкомъ хвоста.

Незамѣтно приблизилось лѣто, и мы всей семьей переѣхали на дачу въ Сестрорѣцкъ. Здѣсь Стахъ бывалъ гораздо чаще. И случилось однажды такъ, что онъ засталъ меня дома совсѣмъ одну. Мы вмѣстѣ позавтракали, затѣмъ, какъ-то не сговариваясь, попросту убѣжали отъ m-lle Marie и пошли по морскому берегу къ Финляндской границѣ. За нами побѣжалъ, конечно, и Трефъ.

День былъ жаркій, и ступать по песку было тяжело, но вся моя душа наполнилась счастьемъ, потому что рядомъ со мной шелъ Стахъ. Мнѣ очень хотѣлось разсказать ему о томъ, какъ я видѣла во снѣ похожее на него лицо въ офицерской фуражкѣ, но я постѣснялась. Стахъ точно угадалъ мои мысли и совсѣмъ неожиданно произнесъ:

— Такъ итти по песку совсѣмъ легко, а вотъ, когда черезъ плечо скатанная шинель, а на боку сумка и фляжка, да съ ружьемъ,—это, я вамъ скажу, другое дѣло.

— А вы развѣ такъ ходили?

— Конечно, цѣлый годъ я пробылъ солдатомъ и только въ концѣ выдержалъ экзаменъ на прапорщика запаса.

Тогда я поняла, почему у него такая выправка и такая походка. Когда мы вернулись, солнце уже садилось, и море было молочнаго цвѣта съ темно-синими и темнозелеными прослойками. Почти у самой нашей дачи Стахъ вдругъ спросилъ:

— Какъ вы ко мнѣ относитесь!?

Я почувствовала, что краснѣю, и не сразу нашлась, что отвѣтить, но потомъ овладѣла собой и совершенно искренно произнесла:

— Когда васъ нѣтъ, мнѣ кажется, даже и въ хорошую погоду, что все время дуетъ вѣтеръ и несетъ въ глаза песокъ, а когда вы приходите, тогда и въ дурную погоду кажется, что грѣетъ солнце и тихо вокругъ.

Стахъ посмотрѣлъ на меня удивленно и ласково. Я не забуду этого взгляда никогда.

IV.

Mademoiselle перепугалась. Лицо ея было въ слезахъ, но, увидѣвъ меня, она сразу успокоилась и почти съ восторгомъ крикнула:

— О, какой вы злой и некарошій, я такъ боялся, я такъ боялся, что maman пріѣдетъ, но онъ, слава Богу, не пріѣхалъ.

Не сговариваясь, молча, я, Стахъ и m-elle рѣшили мамѣ не говорить о нашей прогулкѣ.

И не сказали...

По чистой совѣсти это былъ первый и послѣдній, самый лучшій

день въ моей жизни, а затѣмъ Стахъ уѣхалъ, кажется, на Кавказъ. Не пришлось сказать на прощанье ни одного искренняго слова. Съ любовью и тоской смотрѣла я на его лицо, и казалось мнѣ, что оно особенно красиво и точно покрыто тончайшей, едва уловимой глазомъ, кисеей. Такими кажутся лица на фотографіяхъ умершихъ. Стахъ вышелъ изъ будуара мамы и сѣлъ за рояль. Въ послѣдній разъ онъ заигралъ и запѣлъ свое любимое:

«Да какъ Стахъ шелъ на войну,
Въ чужедальнюю страну»...

Я, мама и даже отецъ провожали его на вокзалъ. Хотѣлось плакать, но я изо всѣхъ силъ себя сдерживала. Мучилась до самаго вечера, а затѣмъ все-таки со мной случился припадокъ истерики, и такой сильный, что скрыть этого не было никакой возможности. За мной ухаживала одна m-elle. Вертѣлъ хвостикомъ и сочувственно подвизгивалъ Трефъ, а мама стояла, точно каменная, ударяла себя вѣеромъ по ладони лѣвой руки и съ ясной злостью въ голосѣ кричала:

— Это—распущенность, это—распущенность. И потомъ добавила по-польски: Czy to ładnie? Czy to pasuje? Taka duża panna i beczy, jak małe dziecko... *).

Потомъ мнѣ было стыдно и больно, больно отъ несомнѣнности, что это кричитъ не только мать, но и соперница. Скучно дотянула я до средины лѣта,—съ однимъ Трефомъ разговаривала... Прежде я не смѣла и помыслить уйти куда-нибудь безъ mademoiselle, а теперь мнѣ разрѣшалось гулять, когда угодно и гдѣ угодно, совсѣмъ одной. Мама знала, что онъ далеко.

По цѣлымъ часамъ я сидѣла на берегу моря, но ничего не слышала и не видѣла. Перестала читать. Какъ-то вечеромъ вошла въ кабинетъ къ отцу. Онъ сидѣлъ за письменнымъ столомъ и удивленно поднялъ голову. Коротко спросилъ:

— Что тебѣ?

— Такъ, ничего, пришла посмотрѣть, что ты дѣлаешь.

— Пишу,—отвѣтилъ онъ и посмотрѣлъ еще внимательнѣе.

Я подошла къ нему совсѣмъ близко, положила правую руку на плечо отца и поцѣловала его въ голову. Онъ поцѣловалъ мою лѣвую руку. И въ первый разъ въ жизни, уже совсѣмъ другимъ голосомъ, произнесъ:

— Что съ тобой, мой ребеночекъ?

*) Развѣ это хорошо? Развѣ это идетъ? Такая большая барышня и плачетъ, какъ малый ребенокъ!

— Тяжело, папа...

— Почему?

— Одна я, совсѣмъ одна.

Онъ откинулся на спинку кресла и задумчиво проговорилъ:

— Да, это правда... А ты вотъ что, когда скучно, приходи ко мнѣ.

Это былъ новый папа, и если я до сихъ поръ живу на свѣтѣ, то лишь потому, что живетъ и онъ.

Было еще обстоятельство, сблизившее меня съ отцомъ: я замѣтила, что мама сама ходила два раза на почту и вернулась оттуда радостная и взволнованная,а между тѣмъ всѣ письма до сихъ поръ доставлялись намъ на дачу.

V.

Ни я, ни папа не любили газетъ, и объявленіе войны было для насъ полной неожиданностью. Я плохо понимала, что случилось, но видѣла, что всѣ дачники и дачницы вдругъ перемѣнились. Сосѣдка, хорошенькая докторша, ходила заплаканной. Черезъ нѣсколько дней молоденькій кандидатъ на судебныя должности, всегда проходившій мимо моего окна, появился въ офицерской формѣ. Измѣнилось и лицо мамы. Теперь она бѣгала на почту уже каждый день и, не скрываясь отъ меня, читала письма Стаха, но прятала ихъ подъ замокъ или рвала. Только черезъ недѣлю я сообразила, что и Стахъ, вѣроятно, уже надѣлъ форму прапорщика запаса. Холодный испугъ сдавилъ меня, и не съ кѣмъ было подѣлиться.

Мама вдругъ потребовала, чтобы мы немедленно переѣхали въ городъ; это совершилось въ два дня и скорѣе было похоже на бѣгство, но въ городѣ мнѣ стало легче. Совсѣмъ измѣнилась и моя mademoiselle; она часто цѣловала меня, трясла руку и говорила:

— Oh! ces allemands, о, эти звѣри, мы имъ покажемъ. Эльзасъ и Лотарингія назадъ.

И опять цѣловалась и слезы блестѣли на ея рѣсницахъ.

Начиная съ сентября мои занятія пошли кое-какъ. Нервы никуда не годились. Иногда томила никакими словами невыразимая тоска безъ слезъ, безъ словъ. Къ мамѣ теперь я чувствовала только жалость, видѣла, что не легко и ей.

Съ утра уже у насъ въ домѣ всѣ шелестѣли газетами.

5-го сентября мнѣ было особенно худо. Ночью я долго не могла уснуть и совсѣмъ ясно услыхала голосъ Стаха: «Не нужно перевязывать»...

Я такъ испугалась, что разбудила mademoiselle и уже не легла

до разсвѣта. Днемъ все время казалось, что нечѣмъ дышать, m-lle сидѣла все время нахохлившись и молчала. Мама уѣхала, вѣроятно, въ почтамтъ. Папа заперся въ кабинетѣ. Къ обѣду никто не вышелъ.

Я надѣла пальто, позвала Трефа и вышла на улицу. Зашла въ цвѣточный магазинъ и купила туберозъ. На углу Литейнаго остановилась и , сама не знаю зачѣмъ, сѣла въ вагонъ трамвая. Онъ загудѣлъ и двинулся по Загородному.

Возлѣ Царскосельскаго вокзала я увидѣла, что здѣсь у главнаго подъѣзда стоятъ кареты скорой помощи и нѣсколько автомобилей, на каждомъ изъ нихъ былъ красный крестъ въ бѣломъ кругѣ.

За автомобилями виднѣлось море головъ. Конные городовые осаживали толпу. Съ большимъ трудомъ мнѣ удалось протискаться и стать въ первомъ ряду. Все во мнѣ дрожало. Я старалась убѣдить себя,что это—сонъ-кошмаръ, но кто-то больно мнѣ наступилъ на ногу. Пошелъ дождикъ. Никто не уходилъ.

Головы вокругъ меня вдругъ зашевелились, и я увидѣла, какъ изъ дверей вокзала четыре человѣка вынесли укутаннаго до пояса Стаха. На головѣ его была одноцвѣтная, зеленоватая фуражка. Я услышала, какъ всунули носилки въ карету и какъ щелкнула дверца, а затѣмъ всѣ люди и карета стали ярко-голубыми, и сладко, и звонко загудѣло у меня въ ушахъ...

Борисъ Лазаревскій.

ИКОНА.

Вѣтеръ, буйный вѣтеръ, что такъ горько стонешь?
Словно дорогого друга ты хоронишь...
Подъ свинцовой кровлей мрачной темноты
Всѣхъ погибшихъ въ морѣ отпѣваешь ты!
Здѣсь людей не надо,—небо лишь да море,
Да слилися волны въ погребальномъ хорѣ:
«Всѣхъ, конецъ нашедшихъ въ глубинѣ морской,—
Всѣхъ ихъ со святыми, Боже, упокой!»
Все пустынно въ морѣ... Жутко, одиноко...
Только—что плыветъ тамъ на водѣ далеко?
Образъ! Это—образъ! Сломанъ крестъ надъ нимъ,
Но Спаситель смотритъ—образъ невредимъ!
То съ «Паллады» образъ—ликъ Христа небесный...
Онъ одинъ лишь спасся силою чудесной:
Онъ къ живымъ отъ мертвыхъ поднялся со дна—
И его вернула моря глубина.
Всѣ, кто взятъ былъ моремъ въ страшное мгновенье.
Съ нимъ изъ-за могилы шлютъ благословенье
Тѣмъ, кого любили на родной землѣ,
Тѣмъ, кому сіяли въ тусклой жизни мглѣ...
Некому отнынѣ быть имъ обороной!
Пусть хранимы будутъ Пресвятой Иконой!
Вотъ привѣтъ послѣдній и загробный знакъ...
И плыветъ Икона, озаряя мракъ.
Затихаетъ вѣтеръ, тихо шепчетъ море:
«Пощади живущихъ, облегчи ихъ горе...
Сжалься надъ безмѣрной горечью людской...
Мертвыхъ—со святыми, Боже, упокой!»

Т. Щепкина-Куперникъ.

ПУТЯМИ КРОВИ И ПОБѢДЪ.

Волна, раскатившись, ударилась о твердую стѣну сибирскихъ полковъ передъ Варшавой и покатилась назадъ. Сохраняя возможный при столь быстромъ движеніи порядокъ, маскируя это отступленіе почти дѣтскими выдумками *), болѣе всего опасаясь, чтобы оно не приняло характера паническаго бѣгства, хотя по существу—я продолжаю утверждать это—оно было именно такимъ, волна нѣмецкаго нашествія на столицу польскаго края покатилась назадъ широкимъ треугольникомъ, вершина котораго была ближайшей къ Варшавѣ, а основаніе расширялось по мѣрѣ того, какъ удалялось отъ нея.

Блоне—Гродискъ, затѣмъ Скерневицы—Ловичъ, потомъ Лодзь—Ленчица и такъ дальше, вплоть до Калиша—Ченстохова, этотъ втягивающійся основаніемъ треугольникъ—какъ пущенный съ горы шаръ, пріобрѣтая по мѣрѣ движенія большую быстроту, удалялся отъ Варшавы. Русскія войска преслѣдовали его, тѣсня шагъ за шагомъ, дѣлая нечеловѣческіе переходы, почти безъ сна, питаясь случайно, ибо кухни не могли поспѣть за передовыми частями...

Если попробовать представить себѣ тѣ условія, въ которыхъ протекало это безпримѣрное преслѣдованіе—становится жутко за того иркутскаго, енисейскаго, пензенскаго или тверского мужика, который съ настойчивымъ упорствомъ вынесъ его на своихъ плечахъ. Уже осень—глубокая, холодная, мозглая осень. Пронизывающіе дожди смѣняются изморозью, которая сѣчетъ лицо чуть не до крови. Въ окопахъ скопляется вода, въ которой приходится стоять часами. И вдругъ ударитъ морозъ и земля звенитъ, какъ желѣзная, и острыя льдины рѣжутъ ножомъ кожу сапога. А тутъ еще переходы въ тридцать, сорокъ, сорокъ пять верстъ.

---

*) Извѣстенъ фактъ, характеризующій дѣйствія нѣмцевъ подъ Варшавой: послѣ шести дней непрерывной артиллерійской пальбы, въ седьмой наступало затишье, когда одно-два орудія вяло бухали съ той стороны. Это традиціонный отдыхъ нѣмцевъ. Отступленіе начали въ такой именно седьмой день, посвященный «Богу». Чтобы замаскировать отходъ, нѣмцы возили по всему своему фронту одну пушку и время отъ времени пострѣливали изъ нея въ разныхъ мѣстахъ. Впослѣдствіи извѣстный въ Варшавѣ, занимающій видный административный постъ, генералъ У., показывалъ мнѣ фотографіи нѣмецкихъ укрѣпленій, гдѣ были воздвигнуты декоративныя орудія, сдѣланныя изъ водосточныхъ трубъ, колесъ отъ крестьянской телѣги и пр. Всѣ такія «батареи» помѣщались на мѣстахъ, видимыхъ въ бинокль изъ русскихъ окоповъ.

Остановиться было нельзя. И они шли, шагали по осенней грязи, шли равнодушные къ себѣ, окружающему, ко всему, кромѣ того огромнаго дѣла, для котораго явились изъ дебрей Сибири, изъ глухихъ деревень, темныхъ угловъ: кромѣ войны, битвы, сраженія, преслѣдованія.

Потомъ преслѣдованіе остановилось и нѣкоторое время было молчаніе. Потомъ прошелъ слухъ, что нѣмцы «проходятъ сквозь Ченстоховъ». Они не выступали изъ Ченстохова, а пропускали черезъ него свои части. Это и были тѣ части, которыя дѣйствовали подъ Варшавой. Потомъ стало извѣстно о томъ, что на линію Плоцкъ—Турекъ—Калишъ переброшено четыре или пять свѣжихъ корпусовъ. И потомъ разыгралось сраженіе Красневицы—Кутно,—дѣло, которое пишущій эти строки имѣлъ случай наблюдать «своими собственными глазами».

Незадолго передъ настоящей міровой войной мало авторитетные, но обладающіе немалымъ апломбомъ знатоки утверждали, что теперь война сводится исключительно къ артиллерійскому поединку. Мы знаемъ теперь всю ошибочность такого утвержденія. Война стара, какъ міръ, и пріемы ея остаются тѣми же, что и во времена какого-нибудь Артаксеркса, измѣняясь только въ формахъ, какъ мѣняетъ свои формы старое лицо земли. То, что спеціалисты называютъ живою силою войска—такъ же необходимо и служитъ такимъ же фундаментомъ въ любомъ столкновеніи, какъ и сто, и двѣсти, и пятьсотъ лѣтъ тому назадъ, и у Наполеона, и у Петра Великаго, и у Чингизъ-Хана... Эта живая сила, вооруженная теперь трехлинейными винтовками съ переснаряженнымъ четыре года тому назадъ патрономъ, въ настоящей войнѣ стоитъ или лежитъ или сидитъ, скорчившись, въ окопахъ, палитъ, выставляя винтовку изъ-за земляного валика, и количество того свинца, которое выбрасываетъ она въ сторону врага, служитъ опорой, фундаментомъ, замкомъ свода всякаго сраженія. Порою она вскакиваетъ, съ дикимъ, ужаснымъ крикомъ, перехвативъ винтовку, бѣжитъ впередъ, выбиваетъ врага изъ его окоповъ и, засѣвъ въ нихъ, опять палитъ, щелкая затворами.

Напрасно было бы думать, что она палитъ въ опредѣленнаго, конкретнаго нѣмца. Когда знакомый офицеръ, любезности котораго я обязанъ присутствіемъ своимъ въ районѣ боя, махалъ рукою куда-то впередъ и завѣрялъ меня, что тамъ нѣмцы,—я, несмотря на довольно сильный бинокль, не видѣлъ ни одного нѣмца. А,между тѣмъ, солдаты въ томъ окопѣ, гдѣ мы были, попрежнему сухо щелкали затворами винтовокъ и стрѣляли въ ту сторону. Стрѣляли туда, гдѣ былъ нѣмецъ—абстрактный, невидимый нѣмецъ, котораго надо было отдавить

отъ Красневицъ. Впослѣдствіи мнѣ объяснили это обстоятельство. Идея даннаго дѣла была задержать наступленіе. Развѣдкой былъ установленъ путь этого наступленія, и вотъ этотъ самый путь, по которому должны итти колонны непріятеля, становится недоступнымъ. Онъ превращается въ рѣку свинца отъ пронизывающихъ его пуль, и можно послать этимъ путемъ взводъ или батальонъ, или полкъ, или корпусъ—результатъ будетъ одинъ: всѣ лягутъ на этой дорогѣ, заполненной свистящимъ свинцомъ.

Все это узналъ я впослѣдствіи, а въ то время, когда былъ въ окопахъ, жадно и остро оглядывался вокругъ, стараясь запомнить все, что видѣлъ. И настойчивый и напряженный вопросъ все время стоялъ передо мной: что же,что самое важное,самое значительное здѣсь? Отдѣльные штрихи этого перваго въ моей жизни боя казались всѣ одинаково важными. Важно и значительно выраженіе лицъ солдатъ, то самое выраженіе какой-то отрѣшенности, даже, пожалуй, отчужденности отъ всего, кромѣ данной минуты, и выраженіе, о которомъ я писалъ въ одномъ изъ прошлыхъ очерковъ.

Тонкая пленка затянула души этихъ людей и вся огромная сложность жизни представляется имъ смѣшной и наивной передъ тѣмъ, что происходитъ сейчасъ. Это выраженіе объединило десятки лицъ, которыя я могъ видѣть со своего мѣста—и всѣ они стали похожи одно на другое. Обычное различіе цвѣта глазъ, волосъ, формы носа или губъ,—передъ этимъ общимъ выраженіемъ представляется такъ же мелкимъ и неважнымъ, какъ прошлая жизнь передъ этой минутой. И выраженіе это сложное, трудно уловимое—сосредоточенное, дѣловое—чуть-чуть угрюмое и—боюсь сказать—чуть-чуть жестокое... Обычное добродушіе всесолдатскаго лица, и веселаго, и трогательнаго, и вмѣстѣ немного лукаваго—исчезло. Тутъ, когда за небольшой горкой земли на внѣшней сторонѣ окопа пьяными шагами ходитъ захмелѣвшая отъ крови смерть,—тутъ уже просыпаются иные, таящіеся въ глухихъ углахъ человѣческой души инстинкты...

Щелкаютъ, порою сливаясь въ непрерывный трескъ, выстрѣлы. Они близко и первыя минуты оглушаютъ до звона въ ушахъ, но—странное дѣло—черезъ полчаса ихъ какъ будто не замѣчаешь. Не слышать ихъ нельзя, но ихъ не замѣчаешь, какъ не замѣчаешь иногда всего оркестра, выдѣляя изъ него партію какой-нибудь віолончели. И такой віолончелью представлялось мнѣ характерное звяканье затворовъ, поблескивавшихъ своей подвижной, круглой головкой. Этотъ звукъ иногда казался болѣе громкимъ, болѣе властнымъ, чѣмъ самва стрѣльба, и похоже было, что длинная, неправильно изогнутая канаая

окопа все время жадно щелкаетъ металлическими зубами. И это тоже представлялось важнымъ...

И уже особой, значительной важности былъ исполненъ отдаленный крикъ:

— Берегись! Шрапнель!..

Трудно опредѣлить этотъ звукъ: вой, посвистыванье, стонъ? Въ общемъ—первое мое впечатлѣніе было приблизительно такое, какъ если бы я надъ своей головой услышалъ шумное дыханіе запаленной лошади. Потомъ слабый звукъ взрыва—примѣрно такой же, съ какимъ разрывается высоко взметнувшаяся ракета— и по землѣ, какъ капли дождя по желѣзной крышѣ, защелкали пули...

— Охъ, чтобъ тебя!...—отрывисто и изумленно, нарушая сосредоточенность минуты, крикнули гдѣ-то, и этотъ крикъ показался почему-то ненужнымъ, пожалуй, даже нетактичнымъ...

— Перехлестни, перехлестни, руку то перехлестни выше, чтобы кровь не такъ... — сердился тамъ хриплый отъ давней простуды басъ,—эхъ, голова, говорю, перехлестни натуго... Да хуть ремнемъ, все одно!..

И это также казалось важнымъ, какъ и самый звукъ торопливыхъ голосовъ.

Я пробылъ въ окопахъ немного, но когда мы съ знакомымъ офицеромъ опять пустились въ путь,—было такое впечатлѣніе, словно я пережилъ нѣчто очень большее, что въ обычное время несутъ съ собою цѣлые годы... Самая настоящая живая смерть—не случайная, не катастрофическая—отъ какого-нибудь, упавшаго за полшага, карниза, а опредѣленная, если позволено будетъ такъ выразиться,—заранѣе и спеціально предназначенная, была тутъ же, въ двухъ шагахъ, за покрытой вялымъ дерномъ насыпью окопа...

Теперь уже есть официальныя свѣдѣнія о томъ, что нѣмцы, установивъ воздушной развѣдкой слабое мѣсто нашего растянутаго фронта повели энергичное наступленіе.

Это была вторая—и надо надѣяться—послѣдняя волна, докатившаяся до Красневицъ и Кутно. Тогда же, въ самый день боя, положеніе представлялось нѣсколько неяснымъ, по крайней мѣрѣ, для отдѣльныхъ частей участвовавшихъ въ дѣлѣ войскъ.

Не знаю, почему: оттого ли, что просто я—не военный человѣкъ, или потому, что общее положеніе дѣла представляется яснымъ только центральному органу, мозгу даннаго боя, но понять въ тотъ моментъ было трудно что-либо. Можетъ быть, мѣшающимъ обстоятельствомъ служили подробности, черточки быта войны, на которыя искусные

люди, въ родѣ сопровождавшаго меня штабсъ-капитана, не обращали никакого вниманія.

Бредетъ раненый,—и, вмѣсто сапога,у него на правой ногѣ голенище, завязанное у конца ноги бечевкой. Идетъ споро, ловко и только покачиваетъ раздробленную у локтя лѣвую руку другой рукой.

— Гдѣ раненъ?—спрашиваетъ мой спутникъ, объѣзжая его.

— На перебѣжкѣ... Тамъ!—киваетъ головой назадъ солдатъ.— Да это што, а вотъ сапогъ стерялъ, ваше бродь, неловко такъ-то...

Съ тяжелымъ, металлическимъ лязгомъ, ухая въ разъѣзженныхъ колеяхъ, проѣзжаетъ орудіе. И у правой, подручной лошади первой пары сухія, круто выпирающія отъ натуги ребра въ крови, а выносной солдатъ съ нахмуренными бровями и стиснутыми зубами хлещетъ ее нагайкой... И то же отрѣшенное, не лишенное жестокости, лицо у него, лицо человѣка, которому не до сантиментальности, жалости и всего прочаго...

Я уже писалъ о томъ, какъ провелъ ночь въ окопахъ. Мой штабсъ-капитанъ, связанный съ этими мѣстами спеціальнымъ назначеніемъ покинулъ меня до утра на попеченіи молодого прапорщика запаса съ такимъ землистымъ лицомъ, что трудно было понять, какъ онъ еще двигается, шевелитъ ногами и находитъ силу думать и говорить?!... Если я проживу Аридовы вѣка, я не забуду этой ночи. Всѣ впечатлѣнія дня, картины, звуки, отдѣльныя лица налегли на душу чернымъ кошмаромъ. Кругомъ, какъ бездомныя птицы въ дождь, нахохлившись и вобравъ голову въ плечи, черными кучами сидятъ солдаты. Говорятъ рѣдко, медлительно, угрюмо, но не спятъ. Гдѣ-то далеко—нз передовой линіи, откуда мы отдалились верстъ ны пять—то вспыхивающая, то угасающая трескотня выстрѣловъ. А здѣсь тихо—и если подойти вплотную—трудно догадаться, что здѣсь сидитъ толпа людей.

Я подѣлился съ прапорщикомъ имѣвшимся у меня шоколадомъ, и мы молча жевали его, подавленные этой черной ночью. Черная куча возлѣ меня шевельнулась и глухой ночной голосъ окликнулъ:

— Ахремовъ. а Ахремовъ?

— Чего тебѣ?—доносилось издали.

— Ты что жъ. песій сынъ, ранецъ австріяцкій у меня взялъ, а шапки не шьешь... Ранецъ добрый, шерсть хоть телячья, а вонъ какая...

— А когда жъ мнѣ шить было? Въ окопѣ, что ль?

И опять молчаніе. Гдѣ-то далеко, въ черной пустотѣ ночи, пронесся странный, жуткій крикъ. Кто это закричалъ? Раненый? Но голосъ

мало походилъ на человѣческій. Какая-нибудь птица? Откуда быть здѣсь птицѣ, когда цѣлый день не умолкали выстрѣлы.

Тотъ же голосъ, что предлагалъ шить шапку изъ австрійскаго ранца въ окопѣ, сказалъ:

— Лошадь ихняя... Нонче тамъ орудію отбили, лошадей поранили, они и здали. Спортили сперва, а послѣ здали... Теперь, должно, сдыхаетъ лошадь-то...

Какая безконечная, страшная, похожая на смутный сонъ, ночь!.. Въ довершеніе всего, какъ выяснилось уже утромъ, та часть,въ которой я провелъ эту памятную ночь, чуть-чуть не оказалась отрѣзанной нѣмцами.

Когда утромъ въ сыромъ туманѣ падающей съ неба изморози со своимъ штабсъ-капитаномъ мы подъѣзжали уже съ Скерневицамъ и мой спутникъ сообщилъ мнѣ это пріятное извѣстіе, я почувствовалъ въ груди нѣкоторый холодокъ. Попасть къ нѣмцамъ въ плѣнъ въ качествѣ не военнаго человѣка, со всѣми моими записными книжками въ карманахъ, съ картами и альбомчиками, куда я зарисовывалъ наиболѣе характерную конфигурацію окоповъ, внѣшній видъ ихъ, фигуру убитаго солдата—перспектива не изъ пріятныхъ. Въ лучшемъ случаѣ—путешествіе въ Германію, въ худшемъ... Но испугъ заднимъ числомъ прошелъ, и я постарался не думать о возможныхъ перспективахъ.

Въ Скерневицахъ я видѣлъ плѣнныхъ нѣмцевъ и австрійцевъ (дѣйствующія на этомъ фронтѣ кавалерійскія части почти сплошь состоятъ изъ австрійцевъ), видѣлъ взятыхъ въ этотъ день двухъ нѣмецкихъ авіаторовъ, видѣлъ то самое орудіе, что отбили наши... Обо всемъ этомъ въ слѣдующемъ очеркѣ...

Въ Скерневицахъ же ждалъ меня автомобиль. И тутъ же казакъ, у котораго я бралъ лошадь.

— Ну, сколько жъ тебѣ за лошадь надо?—спросилъ я этого казака, разминая ноги послѣ долгаго сидѣнія въ сѣдлѣ.

Зеленовато-сѣрые, веселые глаза станичка въ упоръ уставились на меня.

— Сто рублей, ваше высокородіе,—ни на секунду не задумываясь, выпалилъ онъ.

— Не много ль будетъ? Сутокъ не прошло и сто рублей?—умѣхнулся я.

— Такъ, вѣдь, ее жъ убить могли,—съ непоколебимымъ убѣжденіемъ и также весело отпарировалъ станичникъ,—у насъ лошадь своя, не казенная...

Торговались мы съ полчаса. И когда лукавый станичникъ началъ было говорить разныя слова о томъ, что, молъ,—нонче время военное, которые господа не изъ воинскаго званія—зачѣмъ имъ тутъ быть?—сошлись на двадцати пяти рубляхъ.

—Я потому,—бормоталъ казакъ, укладывая бумажку въ истрепанный кошелекъ,—что, какъ ее убить могли... Что я тогда сдѣлаю? Рыскъ!..

Шоффѣръ, которому все время моего отсутствія пришлось отбиваться отъ настойчивыхъ разспросовъ—кто, зачѣмъ, по какимъ дѣламъ пріѣхалъ?—встрѣтилъ меня чуть не со слезами:

— Нехъ панъ Бугъ брони, въ жизни моей больше не поѣду съ корреспондентомъ больше... Чуть самоходу не реквизовали, то-бо была бы штука!...

На выѣздѣ я встрѣтилъ своего милаго штабсъ-капитана.

— Ну, что, понюхали пороху?—спросилъ онъ, сдерживая лошадь.

Я поблагодарилъ его и мы разстались. Можетъ быть, съ тѣмъ, чтобы больше никогда не увидѣться...

В. Муйжель.

БЭБИ.

Патріархальныя нѣмецкія семьи переживаютъ большую тревогу. Патріархальныя нѣмецкія семьи съ упованіемъ читаютъ журналъ «Hochland», утѣшающій дѣвушекъ навыданьи въ томъ, что послѣ войны убыль жениховъ пополнится.

Писательница Гнаугъ-Кюне, опираясь на статистическія данныя войнъ прошлаго вѣка, находитъ, что послѣ войнъ матримоніальныя настроенія возникаютъ прямо изъ купели крови. Потрясенныя души, ущемленные нервы ищутъ отходновенія, сладости и уюта подъ розами Гименея.

Черезъ два-три мѣсяца послѣ того, когда эссенскія жерла остынутъ, по дорогѣ къ киркамъ потянутся фраки и бѣлыя платья, а тамъ, Богъ дастъ, еще черезъ нѣсколько мѣсяцевъ, подъ островерхой черепицей кровель, въ буковыхъ колыбелькахъ, съ сквозными сердечками въ сѣнкахъ, заверещитъ, заплачетъ новое поколѣніе, которое самъ ласковый рокъ пуститъ на поля, выжженныя снарядами, одымленныя войной. И все хорошо будетъ.

Лишь бы только Германія вышла побѣдительницей изъ войны и тогда,—честь мадамъ Кюне вамъ въ томъ порукой,—не менѣе четырехъ милліоновъ бэби въ первые два года заполнятъ собой страну. Рождаемость докатитъ до кульминаціонной точки.

Впрочемъ, извиняюсь, количество бэби мадамъ Кюне не подсчитываетъ, а указываетъ предположительно лишь на то, что изъ германцевъ, пригодныхъ къ войнѣ (ихъ 14 милл.), навѣрное, уже 8 милл. пригодны и къ семейному миру. Мадамъ Кюне готова даже уступить и охотно соглашается залучить въ свои статистическія сѣти шесть милліоновъ молодыхъ людей, дабы уступить ихъ такой же армадѣ невѣстъ.

Къ сожалѣнію, мадамъ Кюне не идетъ далѣше. Она говоритъ только о чаяніяхъ и опасеніяхъ невѣстъ. И ничего не говоритъ объ опасеніяхъ *вдовы*. Заботясь о невѣстахъ, не мѣшало бы вспомнить объ опустошенной, покрытой крепомъ, вдовствующей странѣ.

Что же, позволительно спросить, получитъ Германія отъ этихъ браковъ, если все будетъ обстоять счастливо, т. е., во-первыхъ: побѣдятъ милостью неба нѣмцы, а, во-вторыхъ, всѣ побѣдители маршъ-

маршемъ, съ мѣста въ карьеръ, закупятъ букеты, постоятъ, сколько требуется, на колѣняхъ и устроятся съ молоденькими, хорошенькими женами въ идиллическихъ особнякахъ?

Дастъ ли совокупность этихъ счастливыхъ условій—расцвѣтъ дѣторождаемости?

Германію, какъ и всякую страну, не можетъ интересовать лепетъ любви и прочіе орнаменты мужско-женскихъ отношеній,— странѣ нужны люди, люди и люди, странѣ нужны полномѣрные въ груди, на крѣпкихъ ногахъ, съ ладно привѣшенными руками мужчины.

Заинтересовалась ли мадамъ Кюне этимъ обстоятельствомъ?

Мадамъ Кюне говоритъ, правда, о небываломъ экономическомъ возрожденіи страны, но мы хорошо знаемъ, что «ренесансъ» желудковъ не всегда идетъ рука объ руку съ ренесансомъ семьи.

Есть красивое русское повѣрье, по которому въ первые два года послѣ войны рождается больше мальчиковъ, чѣмъ дѣвочекъ. И мальчики эти болѣе сильные, красивые. Можетъ быть, народъ смутно ощущаетъ великую поэзію тоски, приносимой войной,—на свѣжихъ могилахъ лучшими памятниками могутъ быть не камни, не мраморъ, а только живыя жизни.

Русская баба,—«живородная мошна», какъ грубовато-мѣтко окрестилъ ее простодушный герой изъ одной повѣсти Ал. Толстого, крѣпко тоскуетъ о «мальченкѣ».

Тамъ хохочутъ чугунныя жерла, сѣя смерть, *а здѣсь* тяга къ новой жизни.

Мужикъ, надѣвъ черезъ плечо шинельную скатку, пошелъ воевать, а можетъ, и умирать, а бабье чрево и бабья грудь заныли въ материнской тоскѣ: ребенка запросили.

Почти всегда такъ, что кровавыя полосы милитаризма перекатывались въ Россіи полосами полового, производительнаго, распыляющаго характера.

Такъ ли это у нѣмцевъ?

Мнѣ пришлось уже какъ-то писать, что до сути мальтузіанства нѣмецкій мѣщанинъ своимъ умомъ дошелъ задолго до Мальтуса и его писанныхъ теорій. Двухдѣтная система придумана всѣмъ коллективомъ, а «пятнадцатибрачная» система придумана франкфуртскими властями.

И когда? Въ эпоху юныхъ и идеальнѣйшихъ устремленій: во дни «Молодой Германіи».

До государственныхъ запретовъ на чрево, до абортовъ, возведенныхъ въ систему, не доходилъ даже Иродъ. Одно дѣло перебить рыхлые

позвонки ребятамъ, и совсѣмъ другое дѣло запрещать браки, разъединять тѣла и души.

Иродъ былъ джентльмэнъ и во всѣхъ смыслахъ пріятный мужчина предъ полицейскими властями Франкфурта-на-Майнѣ.

И было бы ошибкой думать, что къ дѣторождаемости въ наше время средній нѣмецъ относится благосклонно. Сама мадамъ Кюне охотно подтверждаетъ, что раньше, какъ перевалитъ на четвертый десятокъ, «молодые люди» не идутъ на бракъ.

Лысые, съ ожирѣвшей печенью и утраченной свѣжестью, они украшаютъ рѣдкіе начесы проборовъ вялыми, печальными розами. Это—трагикомедія Гименея.

Пусть исторіи похожденій нѣмецкихъ офицеровъ, съ ихъ насильничествомъ и мужскимъ хамствомъ, во многомъ преувеличены, но какъ тутъ не вспомнить исторіи древнихъ народовъ-насильниковъ, которыхъ судьба всегда мстила вырожденіемъ. Мидія смѣнилась болѣе цѣломудренной Ассиріей, но когда ассирійскіе «лейтенанты», истаскавшись въ походахъ, приносили въ страну безплодіе, надъ ними грозно поднялся кривой иранскій мечъ.

Германія мало-по-малу становится страной нерожающихъ женщинъ.

Ровно недѣлю тому назадъ профессоръ генуэзскаго университета Босси читалъ докладъ о тѣсной связи между милитаристическимъ опустошеніемъ и уменьшеніемъ населенія.

Этотъ докладъ нашумѣлъ на всю Европу, и изъ него мы узнали, что Германія стоитъ на тропѣ къ молчаливымъ погостамъ.

Крѣпкая, широкоплечая, полногрудая нація рѣдѣетъ съ каждымъ годомъ.

Причину Босси указываетъ въ неомальтузіанствѣ, но, кажется, что не только въ томъ причина. Это грѣхъ не только индивидуальный, это грѣхъ соціальный.

Крыши Франкфурта перекрыли всю страну, и голоса нерожденныхъ бэби, милліоны призрачныхъ голосовъ, взываютъ изъ лазурнаго края «нерожденныхъ душъ» изъ страны «Синей птицы».

Босси поражается пышной статистикой рождаемости въ Россіи. Россію онъ ставитъ въ примѣръ ея западнымъ сосѣдямъ. Россія, воистину, живородная мошна, хотя, нечего грѣха таить, съ модой вѣнскихъ франтихъ къ намъ докатились и мода на щеголеватыхъ, пышнобородыхъ вѣнскихъ акушеровъ.

Богатыя русскія дамы охотно ѣздятъ за границу «посовѣтоваться съ профессоромъ» и послѣ совѣта возвращаются похудѣвшими и вновь

готовыми къ удовольствіямъ свѣтской жизни, къ блеску вернисажей и модныхъ премьеръ.

БИБЛІОТЕКА

Но тамъ, въ гнилыхъ соломенныхъ русскихъ деревняхъ, мать и материнство такъ же цѣломудренно-свѣжи, какъ встарь, хотя русская баба неграмотна и Горькаго не читала. А Горькій писалъ: «прекрасное въ человѣкѣ—отъ лучей солнца и молока матери».

Патріархальныя нѣмецкія семьи переживаютъ тревогу: а вдругъ дочки замужъ не повыходятъ! Тревога естественная...

Но еще большую тревогу долженъ возбуждать тотъ фактъ, что замужнія женщины въ Германіи бунтуютъ противъ природы, гасятъ солнце въ себѣ.

Молоко матери истощилось въ коллективной груди Германіи, и тѣ времена, когда Гейне насмѣшливо возглашалъ: «наши женщины рожаютъ, а дѣвицы имъ въ томъ соревнуютъ, помогаютъ», сгасли и утонули въ суровомъ теченіи рѣки Майна.

Сумерки націи надвигаются на опустѣвшіе дома, въ которыхъ не слышно дѣтскаго крика.

Мадамъ Кюне права: послѣ франко-прусской войны количество браковъ возросло,—возрастетъ, пожалуй, и теперь.

Но, что жъ съ того.

Это аргументъ радостный для родителей, которые сплавятъ дочекъ, но не аргументъ для измученной страны.

Въ 1872—73 гг., правда, браки дали недурное потомство, но сѣмя Мальтуса съ тѣхъ поръ взошло и дышитъ отравой на всю страну, надъ которой судьба встала въ халатѣ акушера съ плоскими, облитыми кровью, щипцами. Будущее страны—въ щипцахъ. Надежды и мечты, чаянія и вѣра въ мощь—въ щипцахъ.

Смерти 72-го года дали жизни 74-го года, но что дастъ 1914 годъ въ 1916 году?

Пустую зыбку, колыбель, изъ которой вмѣсто пухлогубаго, смѣющагося личика бэби выглядываетъ насмѣшливая рожа судьбы.

Л. Пасынковъ.

СѢРЫЕ ГЕРОИ.

(Разсказъ раненаго).

Получили мы такой приказъ:

— Взять переправу черезъ рѣчку С.

Не легкое это дѣло было. Непріятель засѣлъ на правомъ берегу рѣки, на горѣ, и сыплетъ и сыплетъ на насъ огнемъ, а мы внизу работаемъ подъ свинцомъ. Летитъ снарядъ, гудитъ, какъ рой шмелей, позади него сизобагровый хвостъ дыма вьется, остановится на секунду надъ головою—трахъ! Рвется и сыплетъ во всѣ стороны дождемъ.

Ну, ничего! Мы, знай-себѣ, идемъ, потому что взять переправу надо, разъ приказъ дали. Да и знаемъ мы тоже, что ежели переправа будетъ въ нашихъ рукахъ, наши удержатъ за собою позиціи, такъ что на насъ большая задача возложена.

Нашъ ротный былъ убитъ шрапнелью, какъ только мы стали наступать, поручика ранило въ шею, да онъ не захотѣлъ итти на перевязочный пунктъ. Такъ и остался въ строю.

Фельдфебель у насъ старикъ, лѣтъ подъ шестьдесятъ. Старшій сынъ его ротой командуетъ, а младшій, паренекъ лѣтъ шестнадцати, добровольцемъ пошелъ. Такъ вотъ, фельдфебель нашъ подскочилъ къ поручику. Вижу: Богъ ты мой! У человѣка на мѣсто лѣвой руки болтаются красныя лохмотья какія-то. А онъ ничего, хоть самъ блѣдный, бѣлый, какъ стѣна, а къ поручику съ докладомъ:

— Смѣю доложить...

— Санитары!

— Дозвольте! говоритъ, прежде доложить...

Такъ и сдѣлалъ фельдфебель докладъ. Долго говорилъ что-то, а кровь лилась ручьемъ, весь лѣвый бокъ окрасило кровью. Кончилъ докладъ—и хлопъ на-земь безъ чувствъ.

Санитары унесли старика, а онъ, разсказываютъ, очнувшись въ лазаретѣ, Христомъ-Богомъ просилъ забинтовать руку и пустить его опять въ бой. Говорилъ:

— Правая рука у меня, благодареніе Господу, цѣла. Пойду я. Бабиться, говоритъ, некогда.

Да, нѣтъ, не пустили старика.

А тѣмъ временемъ намъ приказали итти въ атаку. Бросились мы вбродъ черезъ рѣчку, выбрались на другой берегъ, а тамъ роща, березовая, а въ рощѣ засѣли венгры. Лютый народъ! Но мы такъ бѣшено ударили, такъ бросились, что не устоялъ венгерецъ, побѣжалъ.

Гоня его штыками, мы миновали рощу. За рощей была лощина, тамъ окопалась вражеская пѣхота и обстрѣливала насъ. Сгоряча мы ничего не замѣтили. Мы гнали передъ собою непріятельскую кавалерію изъ рощи, та наскочила на свою же пѣхоту, затоптала ее, смяла. Пѣхота бѣжала, бросая ружья.

Теперь нужно было удержать за собою лощину и рощу. Такъ намъ и было приказано: держаться до послѣднихъ силъ. А между тѣмъ съ холмовъ спускались новыя силы непріятеля. Четыре батареи и восемь батальоновъ наступали на насъ. Оцѣпили насъ со всѣхъ сторонъ. Дѣло, значитъ, выходитъ табакъ. Да отступить нельзя, невозможно. Какъ же это сдать переправу, которую мы только-что взяли?

Непріятель открылъ сильнѣйшій огонь изъ пулеметовъ и полевыхъ орудій. Шрапнель рвалась, оглушая гуломъ, и темно стало отъ дыма. А мы окапывались подъ шрапнельнымъ огнемъ, а когда непріятель, прекративъ огонь, бросился на насъ въ атаку, мы били его у каждой ложбинки, у рва каждаго и, только наваливъ гору австрійскихъ труповъ, уступали.

Къ вечеру мы отошли до рощи. Тутъ-то, на опушкѣ, и случилась со мною бѣда. Чувствую, ровно въ яму валюсь. Что за оказія такая? Сѣлъ, осматриваюсь: изъ голенища кровь хлещетъ. Эка незадача: въ самую, можно сказать, горячую минуту, и вотъ-на! Завернулъ я рукавъ, оборвалъ сорочку и крѣпко холстиною ногу стянулъ. Ничего будто, кровь перестала бить. А все же встать не могу, больно. Поползъ я за березку, оттуда стрѣлять лежа очень способно, потому что яма была подъ березкой. Такъ и рѣшилъ: покуда наши дальше не отступятъ, буду бить австрійца, а тамъ что Богъ дастъ.

Слышу, опять началась артиллерійская стрѣльба, да не въ насъ, а въ другую сторону. На выручку шла намъ наша пѣхота. И выручила. Австрійцы ушли за горы.

Послѣ принесли меня въ лазаретъ, а фельдфебель нашъ меня спрашиваетъ:

— Ну, какъ? Что?

— Тринадцать часовъ, говорю, держались, а позиція за нами осталась. Ушелъ австріякъ.

— Ну, слава Тебѣ, Господи! — сказалъ. И трижды перекрестился.

Хорошій старикъ, да жаль, померъ на третій день: антоновъ огонь прикинулся ему. А я ничего: выздоровѣю, и опять въ дѣло.

„НАШИ ЛУЧШІЕ ДРУЗЬЯ“.

(Изъ письма офицера).

... Въ этомъ письмѣ мнѣ хочется разсказать вамъ о тѣхъ нашихъ лучшихъ маленькихъ друзьяхъ, которыхъ обрѣли мы на театрѣ военныхъ дѣйствій и которые оказываютъ намъ такую поддержку, которой не оцѣнить никакой цѣной.

Войну приходится вести сейчасъ на территоріи, сплошь населенной поляками. Даже въ городахъ населеніе мало рѣдѣетъ при приближеніи непріятеля. Выѣзжаютъ только тѣ, кто имѣетъ возможность выѣхать, а при бѣшеныхъ цѣнахъ на лошадей, подводы и вообще средства передвиженія, вы сами можете понять, возможность эту имѣютъ далеко немногіе. Большая часть населенія продолжаетъ оставаться на мѣстахъ. И это въ городахъ, располагающихъ все-таки болѣе удобными и усовершенствованными способами передвиженія. О деревнѣ же и говоритъ нечего.

Тутъ, вѣроятно, идетъ передвиженіе изъ одной деревни въ другую, изъ болѣе близкой къ непріятелю въ болѣе далекую, но все же, въ общемъ, населеніе остается въ раіонѣ военныхъ дѣйствій. Остаются, само собою, и крестьянскіе ребятишки, которыхъ намъ часто приходится встрѣчать и услугами которыхъ намъ часто приходится пользоваться.

Удержать дома, видимо, ихъ невозможно. Война къ нимъ все же поворачивается своей праздничной, интересной стороной. Проходящія войска, скачущіе всадники, взрывы артиллерійскихъ снарядовъ, если, конечно, деревня не захвачена непосредственно боевыми дѣйствіями,—все это манитъ ихъ наружу, все возбуждаетъ ихъ любопытство и восторгъ.

Намъ часто приходилось и приходится во время боевыхъ передвиженій наталкиваться на прячущіяся по оврагамъ и опушкамъ лѣса маленькія фигурки, приходилось и приходится пользоваться ихъ знаніемъ мѣстности, но я не объ этомъ хочу говорить сейчасъ.

Незабываемое на всю жизнь впечатлѣніе оставили во мнѣ эти

крестьянскіе ребятишки во время боевъ въ августѣ мѣсяцѣ, въ которыхъ мнѣ приходилось быть участникомъ.

Съ утра лежимъ въ окопахъ. На небѣ ни облачка.

Къ 10 часамъ солнце печетъ такъ, что дышать нечѣмъ.

И ни на минуту нельзя оторваться. Идетъ напряженный бой,—можетъ быть, рѣшается судьба всего сраженія.

Крупныя капли пота ползутъ по лбу, заливая глаза, сколько ни вытирай ихъ. Въ глазахъ какой-то туманъ, во рту давно пересохло...

Кажется, чего бы не отдалъ за одну каплю воды! А воды нѣтъ поблизости, и хорошо понимаешь, что и доставить ее нельзя, такъ какъ кругомъ то-и-дѣло рвутся снаряды, и непріятельская цѣпь впереди пристрѣлялась такъ, что высунуться изъ окопа—значитъ навѣрняка почти выбыть изъ строя.

Жажда мучитъ всѣхъ. Не слышно шутокъ, солдаты то-и-дѣло вздыхаютъ:

— Эхъ, попить бы теперь!

Вызываются охотники сбѣгать къ текущему въ сторонѣ ручью за водой или къ колодцамъ расположенной недалеко деревни.

То-и-дѣло слышно:

— Ваше благородіе! Дозвольте сбѣгать за водой! Двумъ смертямъ не бывать!

И приходится удерживать ихъ, прикрикивая и напуская на себя строгость.

И вотъ въ такія-то минуты вдругъ раздается около окопа тоненькій голосокъ:

— Пане офицерже! Чи можно намъ до васъ въ ровы?

— Кто тамъ?

Оглядываешься,—ребятишки изъ ближайшей польской деревни, босые, чумазые, безъ шапокъ заглядываютъ въ окопъ любопытными живыми глазенками.

— Идите, идите скорѣй!

Въ окопъ вползаетъ маленькая фигурка какого-нибудь деревенскаго Юзика или Стасика, а то и трехъ-четырехъ вмѣстѣ. У всѣхъ у нихъ по жбану съ водой.

— Зачѣмъ вы сюда?

— Мы пржинесли воде!

— Откуда вы?

— А мы зъ веси... Не пржепендзайте насъ, пане офицерже!

Солдаты расцвѣтаютъ. Всякій норовитъ оказать этимъ маленькимъ

героямъ-друзьямъ, принесшимъ намъ живительную воду, возможныя въ нашемъ положеніи вниманіе и ласку.

Ребятишки быстро расползаются по окопу и осваиваются съ солдатами, которые прекрасно понимаютъ ихъ.

— Яки у васъ фузіи. Вчорай мысьми видзели нѣмецкія арматы... Велькія, велькія! По осемь коней тянули каждомъ.

Принесенная ими вода быстро исчезаетъ.

— Южъ выпили?! Пшинесемъ еще... Хлопцы, язда!

— Куда вы? Не видите—пули!

— То ницъ! Намъ кули ницъ не сробятъ!

И они опять захватываютъ быстро опорожненные жбаны, надѣваютъ черезъ плечи сколько возможно солдатскихъ манерокъ и ползутъ, пользуясь каждымъ прикрытіемъ, назадъ и черезъ нѣсколько времени опять приносятъ спасительную влагу.

Чѣмъ можно отблагодарить этихъ маленькихъ и незамѣтныхъ героевъ? Предлагаешь имъ денегъ на гостинцы,—не берутъ.

— Вамъ потшебнейше! Мы въ дому...

— Мама вылае,—говоритъ другой.—Спыта: «сконд взели»?!

Да и что такое деньги! За такую услугу отблагодарить можно лишь подобной же услугой,—жизнь положить за то, чтобы ихъ несчастная родина, растерзанная и разорванная, обрѣла, наконецъ, покой и ожила.

С.

БАЛКАНСКІЯ НАСТРОЕНІЯ.

(ВЪ РУМЫНІИ.)

... Узкая, кривая, но очень оживленная и нарядная улица. Стильные дома, богатые магазины, роскошные гостиницы и рестораны, изъ-за широкихъ зеркальныхъ стеколъ которыхъ доносятся страстные, взвинчивающіе нервы, звуки цыганскихъ оркестровъ. Съ шумомъ и свистомъ проносятся автомобили, мчатся, еле сдерживаемые толстыми, обрюзгшими, съ бабьими лицами кучерами, элегантные «купэ» и фаэтоны. Тротуары залиты шумной, веселой и хорошо одѣтой толпой. Это—«улица Побѣды»—Невскій проспектъ румынской столицы. Всегда нѣсколько внѣшне легкомысленная и шумно-оживленная эта излюбленная гражданами Бухареста для прогулокъ и флирта артерія за послѣдніе дни пріобрѣла вдругъ совершенно ей несвойственный видъ.

Густыя лазоревыя цѣпи солдатъ, охраняющія съ примкнутыми штыками ружьями перекрестки улицъ, на которыхъ находятся дома германской и австрійской миссій и редакціи нѣкоторыхъ германофильствующихъ газетъ. Многочисленныя группы возбужденной молодежи, преимущественно студентовъ, устраивающихъ импровизированные, а потому еще болѣе бурные и шумные митинги возлѣ каждой площади, возлѣ каждаго памятника. Цѣлая армія босоногихъ юркихъ «камло», надрывающихъ горло, выкрикивая названія газетъ, насильно суютъ въ руки прохожихъ, вмѣсто нихъ, свѣже-отпечатанные листы памфлетовъ съ самыми неожиданными и сенсаціоннными заглавіями, въ родѣ: «Долой нѣмцевъ!», «Освобождайте Румынію!», «Прочь отъ Россіи!».

...Мѣстами темный асфальтъ мостовой покрытъ, словно снѣжными хлопьями, разорванными въ клочья листами газетной бумаги. Это своеобразный, весьма понравившійся толпѣ «ауто да фэ» нѣкоторыхъ наиболѣе пламенныхъ націоналистовъ, демонстративно уничтожающихъ, такимъ образомъ, купленные или очень часто даже насильно отобранные въ кіоскахъ и у газетчиковъ нумера газетъ, которыя общественная молва открыто считаетъ продавшимися Германіи.

Это несвойственное и раньше незнакомое веселой румынской столицѣ возбужденіе наблюдается сейчасъ и во всѣхъ политическихъ и общественныхъ кругахъ и слояхъ, и въ прессѣ, на столбцахъ которой оно приняло особо острую форму. Вся мѣстная печать,представленная въ Бухарестѣ большимъ числомъ довольно крупныхъ органовъ, размежевалась на два рѣзко обособленныхъ лагеря. Одинъ изъ нихъ, во главѣ съ наиболѣе вліятельными и распространенными газетами «Universul» и «Adeverul», занялъ совершенно опредѣленную позицію, настаивая, во имя осуществленія великихъ національныхъ стремленій, на немедленномъ присоединеніи Румыніи къ державамъ тройственнаго согласія, и на присоединеніи не платоническомъ, а опредѣленно активномъ.

Другой лагерь, представленный официознымъ «Vitorul» и нѣсколькими субсидированными германскимъ посольствомъ подголосками послѣдняго, во имя тѣхъ же національныхъ интересовъ,отстаиваетъ идею строгаго нейтралитета, понимая подъ словомъ «строгій» недопустимыя, въ сущности, для нейтральнаго государства поблажки въ пользу Германіи. Впервые, кажется, за все время существованія румынской прессы на ея сѣрыхъ узкихъ столбцахъ ведется такая отчаянная, полная страсти, борьба, выливающаяся у однихъ въ рѣзкихъ обвиненіяхъ въ государственной измѣнѣ, у другихъ—въ подкупности, продажности и т. п. Справедливость требуетъ сказать, что иниціаторами этой некрасивой и опасной для государства полемики явились многочисленные, крѣпко осѣвшіе въ Бухарестѣ нѣмецкіе агенты, сумѣвшіе за короткое время создать здѣсь огромную организацію «газетныхъ информацій».

На этой почвѣ разразился даже нѣсколько дней тому назадъ большой скандалъ, оставившій въ румынскомъ обществѣ сильное и тягостное впечатлѣніе. Небольшая уличная газетка, добивавшаяся отъ нѣмцевъ субсидіи и таковую не получившая, открыла противъ нихъ изъ чувства мести цѣлую кампанію, печатая изо-дня въ день сенсаціонныя разоблаченія о дѣятельности нѣмецкихъ агентовъ и ихъ приспѣшниковъ. Такъ какъ при этомъ указанная газетка называла имена, приводила факты, цифры и различныя подробности, то общество заволновалось и потребовало отъ скомпрометированныхъ этими разоблаченіями румынскихъ общественныхъ дѣятелей или объясненій или привлеченія газетки къ суду. Въ числѣ такихъ скомпрометированныхъ оказались не только отдѣльныя лица, но и цѣлыя учрежденія, преслѣдовавшія національно-культурныя задачи. Одно изъ нихъ было вынуждено для защиты своего добраго имени прибѣгнуть

къ суду, на которомъ, къ общему смущенію, выяснилось, что въ Бухарестѣ, дѣйствительно, существуетъ многочисленная и сильная нѣмецкая организація, поставившая себѣ цѣлью распространеніе въ Румыніи агитаціонной нѣмецкой литературы, подкупъ печатныхъ органовъ и отдѣльныхъ журналистовъ, покупку тѣхъ органовъ, которые до сихъ поръ были нѣмцамъ враждебны, фабрикацію тенденціозныхъ, благопріятныхъ для австро-нѣмцевъ, свѣдѣній о ходѣ военныхъ дѣйствій и т. д.

Названный судебный процессъ былъ громовымъ ударомъ, заставившимъ открыть глаза даже тѣхъ лицъ,которыя до сихъ поръ,благодаря своимъ политическимъ, а главнымъ образомъ финансово-экономическимъ связямъ, являлись сторонниками Германіи. Съ другой стороны,заволновалась и націоналистическая пресса, имѣвшая, вслѣдствіе этихъ разоблаченій, полное основаніе бить въ набатъ о нѣмецкой опасности. И въ самомъ дѣлѣ, говоря объ этой опасности, газеты этого лагеря не преувеличивали. Насколько были сильны нѣмцы въ Бухарестѣ,можно судить хотя бы по слѣдующему, быть можетъ,незначительному, но крайне характерному факту. Въ одинъ прекрасный день администраторы націоналистическихъ газетъ къ своему глубокому удивленію узнали о томъ, что весь запасъ типографской краски, имѣвшійся въ складахъ Бухареста, былъ скупленъ редакціей нѣмецкаго листа «Zina» и, такимъ образомъ,всѣмъ остальнымъ газетамъ угрожала опасность не имѣть возможности выходить болѣе въ свѣтъ...

Это моральное и политическое засиліе нѣмцевъ, конечно, способствовало большему пробужденію въ румынскомъ обществѣ націоналистическаго чувства. Другой серьезный факторъ—задержаніе Германіей заказанныхъ и сполна оплаченныхъ еще нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ медикаментовъ и военныхъ припасовъ еще болѣе обострилъ и усилилъ это анти-германское теченіе. Въ теченіе цѣлаго послѣдняго мѣсяца вся оппозиціонная пресса посвящала этому вопросу безконечныя статьи, называя образъ дѣйствій Германіи политическимъ шантажемъ и обвиняя стоящій у власти кабинетъ въ попустительствѣ, граничащемъ съ государственной измѣной. Разоблаченія, послѣдовавшія по этому поводу, оставили не только въ обществѣ, но и въ арміи потрясающее впечатлѣніе: Румынія съ ужасомъ увидѣла, что матеріальная часть ея арміи, благодаря нарушенію Германіей своихъ обѣщаній, не находится на должной высотѣ.

Послѣднимъ, наконецъ, факторомъ роста анти-германскаго настроенія явились категорическія заявленія графа Тисса, уничтожавшія всякія надежды даже у тѣхъ, у кого онѣ еще были, на воз-

можность автономіи румынъ Трансильваніи, а съ другой стороны— и еще болѣе, тѣ невѣроятныя звѣрства и глумленія австрійцевъ надъ румынскимъ населеніемъ въ Буковинѣ, которыя они учинили послѣ очищенія послѣдней русскими. Тысячи бѣженцевъ, прибывшихъ въ Бухарестъ, передавшихъ ужасающія подробности о насиліяхъ австрійцевъ, разстрѣлявшихъ въ своемъ бѣшенствѣ и повѣсившихъ болѣе четыреста человѣкъ,—учителей, священниковъ и крестьянъ. Звѣрства эти тяжелымъ камнемъ легли на совѣсть румынскаго общества, и не будетъ большой ошибкой сказать, что въ настоящіе дни эти невинныя жертвы австрійской мести вырыли между Австріей и Румыніей непроходимую пропасть.

Всѣ эти факторы были бы сами по-себѣ, однако, недостаточны, если бы во главѣ націоналистическаго теченія не стоялъ рядъ весьма талантливыхъ и энергичныхъ людей, которые сумѣли въ своей борьбѣ съ главой теперешняго кабинета г. Братіано выковать острое и сильное оружіе.

Т. Ольгенинъ.

ВЪ МИРНОМЪ ЦАРСТВѢ ТРУДА...

Въ XVIII ст. писалъ канцлеръ Кауницъ австрійскому императору Іосифу II: «Если независимость Бельгіи будетъ признана, то ей будутъ покровительствовать сосѣднія державы, и бельгійцы могутъ стать однимъ изъ счастливѣйшихъ народовъ вселенной».

Въ XIX ст. эти слова оправдались выше всякой мѣры.

Не прошло и 75 лѣтъ со дня провозглашенія независимости Бельгіи, и Бельгія уже была одной изъ самыхъ населенныхъ, трудолюбивыхъ и богатыхъ странъ Европы.

Всюду закипѣла бодрая работа. Задымили фабрики и заводы. Въ подземныхъ шахтахъ застучали кирки.

Маленькая страна, укладывающаяся 124 раза въ пространствѣ Европейской Россіи, насчитывающая не болѣе 7 мил. населенія, стала однимъ изъ самыхъ оживленныхъ центровъ промышленности и торговли, куда охотно паломничали и иностранные художники, тѣ, которые задавались цѣлью воспроизвести на полотнѣ нашъ вѣкъ торжествующей индустріи, какъ, напр., извѣстный англійскій художникъ Джонъ Пенелль.

На рубежѣ XX столѣтія Бельгія стала не только царствомъ мирнаго труда, но и одной изъ богатѣйшихъ странъ Европы.

«Если бы,—замѣчаетъ извѣстный бельгійскій экономистъ и общественный дѣятель Бертранъ,—все богатство страны было равномѣрно распредѣлено между всѣми жителями, то каждый гражданинъ, въ томъ числѣ каждый вновь родившійся ребенокъ, владѣлъ бы капиталомъ въ 5,000 фр. и доходомъ въ 500 фр. или, считая на семью, капиталомъ въ 25,000 фр. и доходомъ въ 2,500 фр.».

Такого равномѣрнаго распредѣленія богатства нѣтъ, разумѣется, въ настоящее время въ Бельгіи, какъ его нѣтъ пока нигдѣ. На долю рабочихъ изъ этой суммы приходится сравнительно незначительная часть, ибо Бельгія страна низкой заработной платы.

Тѣмъ не менѣе родина Метерлинка и Верхарна—страна не только цвѣтущая, но и въ общемъ счастливая.

И это сознаніе порою ярко сказывается въ бельгійской поэзіи,

особенно въ стихахъ, какъ-разъ тѣхъ поэтовъ, которые стоятъ близко къ народнымъ.

Таковъ, напр., Максъ Эльскалпъ.

Сынъ богатыхъ родителей,онъ рано почувствовалъ тягу къ народу-труженику. Отрекшись отъ своего привилегированнаго положенія, онъ сдѣлался простымъ рабочимъ, каменщикомъ, потомъ матросомъ.

Голосъ поэта, стало быть, до извѣстной степени—голосъ самого народа, vox populi.

Вотъ одно изъ его стихотвореній, проникнутыхъ тѣмъ духомъ довольства, тѣмъ чувствомъ инстинктивный радости, которые знакомы только дѣтямъ счастливой страны.

Сегодня снова день воскресный.
И солнце въ утреннихъ лучахъ,
И птицъ веселый хоръ въ садахъ.
Сегодня снова день воскресный.

Всѣ дѣти въ бѣломъ. Сводъ небесъ.
Вдали строенья городовъ,
И Фландрія въ тѣни деревъ,
И море сквозь узоръ древесный.

Всѣхъ ангеловъ сегодня праздникъ.
Со стаей чаекъ Михаилъ,
И легкокрылый Гавріилъ:
Сегодня ангеловъ всѣхъ праздникъ.

А тѣ, что на землѣ живутъ,
Моей страны счастливый людъ,
Сегодня всѣ гуляютъ тутъ,
И всѣ смѣются и поютъ.

Сегодня снова день воскресный.
У мельницъ шумъ колесъ затихъ.
Сегодня снова день воскресный,
И конченъ мой воскресный стихъ.

Родившись въ странѣ мирнаго труда,искусство и поэзія Бельгіи проникнуты, естественно, любовью къ миру и къ труду. Можно безъ особеннаго преувеличенія сказать, что искусство и поэзія Бельгіи звучатъ, какъ свѣтлый гимнъ мирному труду.

Именно въ Бельгіи родился художникъ, наиболѣе ярко воплотившій на полотнѣ протестъ противъ завоевательной войны, идею вѣчнаго мира.

То былъ Антуанъ Вирцъ.

На одной изъ его картинъ стоитъ въ аду съ лицомъ, холоднымъ, какъ камень, Наполеонъ, символъ войны ради мірового господства, а вокругъ него толпятся съ искаженными отъ злобы чертами,съ руками, судорожно сжатыми въ кулакъ, женщины и дѣти, осыпая его проклятіями, въ которыхъ дышитъ непримиримая ненависть. На другой—въ домъ, откуда спасается мать съ ребенкомъ на рукахъ, вторглись солдаты завоевателя. Съ дикимъ смѣхомъ направляютъ они свои ружья на несчастную жертву, въ глазахъ которой свѣтится бездонный ужасъ... Изъ настоящаго взоръ художника уносился въ далекое будущее, когда о войнѣ сохранится воспоминаніе лишь какъ о кровавомъ, безумномъ кошмарѣ. Эту носившуюся передъ нимъ мечту о вѣчномъ мирѣ Вирцъ воплотилъ въ картинѣ, носящей названіе «Послѣдняя пушка», гдѣ надъ полемъ битвы, усѣяннымъ ранеными и убитыми, носится геній истинной цивилизаціи, и его мощная и добрая рука уничтожаетъ послѣднее орудіе истребленія.

Та же проповѣдь мира звучитъ въ новѣйшей бельгійской поэзіи.

Такъ естественно, что именно здѣсь, гдѣ никто никогда не лелѣялъ завоевательныхъ плановъ (колонія Конго была пріобрѣтена лично королемъ Леопольдомъ II), былъ созданъ наипрекраснѣйшій образъ апостола пацифизма, пророка и борца за идею примиренія всѣхъ народовъ.

То трибунъ Эреніанъ въ драмѣ Верхарна «Зори», положившій свою жизнь за торжество евангельскаго слова: «да будетъ миръ на землѣ».

Любовь къ труду, сочувствіе трудящимся, такова—наряду съ апоѳеозомъ мира,—вторая основная мысль, проникающая искусство и литературу Бельгіи. Достаточно вспомнить романы Ж. Эккоута, гдѣ герои, принадлежащіе къ общественному верху, обыкновенно порываютъ съ своей средой и уходятъ или къ крестьянству («Жажда любви», собственно La faneuse d'amour), или къ городской демократіи («Защитникъ бездомныхъ», собственно La nouvelle Carthage) или даже къ босякамъ («Изъ міра бывшихъ людей», собственно L'autre vue). Достаточно указать на прекрасный памятникъ, воздвигнутый народу-труженику поэтомъ Верхарномъ, въ лицѣ сѣдого кузнеца, который стоитъ изо-дня-въ-день, склонившись надъ краснымъ горномъ, въ коронѣ изъ огня и искръ, думая свѣтлую думу о томъ времени, когда

Не будутъ люди злобно и жестоко
Какъ волки грызться межъ собой,
Когда содружества простѣйшіе уроки
Дадутъ народамъ миръ, а жизни свѣтлый строй.

Та же демократическая тенденція проникаетъ и бельгійскую живопись. Такіе художники, какъ де-Гру, Германсъ, Леонъ Фредерикъ, Лармансъ—посвятили такъ или иначе свою кисть на служеніе народу. Какъ ни интересны ихъ картины, онѣ, однако, меркнутъ передъ чудесными скульптурами Константина Менье. Нѣтъ во всемъ міровомъ искусствѣ другого художника, творчество котораго звучало бы такимъ могучимъ и красивымъ гимномъ въ честь жизнедавца-труда. Олимпійскіе боги античныхъ скульпторовъ, мудрецы и святые ваятелей Ренессанса превратились подъ рѣзцомъ бельгійскаго художника въ простыхъ грузчиковъ и пахарей, молотобойцевъ и углекоповъ—мирныхъ героевъ труда.

Достигнутые страной на почвѣ мирнаго труда блестящіе успѣхи подготовили незамѣтно почву для вѣры въ безпредѣльный прогрессъ человѣчества.

Даже Метерлинкъ, когда-то пѣвецъ смерти, увѣровалъ, въ концѣ-концовъ, въ «Синюю птицу», что живетъ и поетъ въ лазоревой странѣ. Даже онъ, когда-то оплакавшій безсиліе человѣка передъ лицомъ грознаго рока, сложилъ потомъ обвѣянную бодростью и вѣрой сказку о томъ, какъ человѣчество не только покончитъ съ войной и болѣзнями, не только упразднитъ соціальную несправедливость, не только доведетъ до совершенства технику и установитъ общеніе между всѣми планетами, разбросанными въ міровомъ пространствѣ, но и дружными усиліями низложитъ послѣдняго врага—смерть.

Производительный трудъ, мирное развитіе, безпредѣльный прогрессъ—таковы идеалы литературы и искусства Бельгіи.

Нынѣ мирное царство труда, созданное руками столькихъ прилежныхъ поколѣній, превратилось подъ ударами тяжелыхъ снарядовъ, подъ колесами бронированныхъ автомобилей, подъ копытами кавалерійскихъ массъ въ окутанную дымомъ, забрызганную кровью развалину.

Тамъ, гдѣ когда-то съ утра до вечера, какъ въ пчелиномъ ульѣ, кипѣла бодрая работа, воцарилось жуткое молчаніе. Тамъ, гдѣ стояли бойкіе города и богатыя деревни, раскинулась сожженная пустыня.

Обезлюдѣла самая населенная страна Европы, гдѣ недавно еще приходилось на одинъ квадратный километръ 227 жителей. (У насъ

только 20). То, что поэтъ Роденбахъ сказалъ когда-то о «мертвомъ» Брюгге, примѣнимо теперь ко всей разоренной странѣ:

Тамъ вѣетъ холодомъ всеобщей тишины.
И даже легкій шагъ, сорвавшееся слово,
Едва замѣтный шумъ нежданностью своей,
Все нарушаетъ вмигъ спокойствіе вещей,
Какъ-будто смѣхъ вблизи уснувшаго больного.

Проф. Фриче.

ТАНИНЪ РИЧАРДЪ.

(Разсказъ).

Было раннеее утро въ началѣ августа. Таня Горная, молоденькая дочь полковника, проснулась радостная и счастливая. Ей было стыдно, что она такъ радостна,—ея отецъ и оба брата ушли на войну, и мама каждый день плакала, а обѣ старшія сестры ходили съ грустными и озабоченными лицами. Но Таня знала почему-то, что отецъ и братья вернутся благополучно, и что ее самое ждетъ большое счастье. Знала она это по тому особенному чутью къ будущему, которое жило въ ней съ дѣтства и никогда не обманывало ее. Сестры смѣялись иногда надъ ея предвѣщательными снами, и она избѣгала разсказывать о нихъ.

Сегодня уже подъ утро Танѣ приснился свѣтлый, лучистый сонъ. Въ озареніи необычайнаго свѣта предсталъ предъ нею воинъ въ блистающихъ латахъ, съ огненнымъ мечомъ въ рукѣ. У воина этого было лицо ея молодого друга, англичанина Ричарда Тайта. Воинъ приблизился къ ней и сказалъ:

— Ничего не бойся, Таня.

— Я ничего не боюсь,—отвѣтила ему во снѣ Таня.

Она привыкла къ постояннымъ спорамъ съ Ричардомъ, и потому и теперь не могла удержаться отъ того, чтобы не возразить на слова невѣдомаго воина, похожаго на Ричарда. Но, сразу же вспомнивъ, что это—воинъ, а не инженеръ Ричардъ, и что онъ только похожъ на Ричарда, и догадавшись, что онъ посланъ возвѣстить ей нѣчто, она застыдилась того, что споритъ, и стала на колѣни передъ свѣтлымъ воиномъ. Тогда воинъ, ласково улыбаясь ей, сказалъ:

— Мы побѣдимъ, и я принесу тебѣ великую радость.

И на этомъ Таня проснулась и увидѣла въ незанавѣшенномъ окнѣ своей спальни еще совсѣмъ низкое солнце.

Танѣ стало радостно. Она проворно одѣлась, заплела свои косы и вышла босая въ садъ. Щеки ея горѣли, и ей весело было чувствовать, что она сильная и здоровая. Весело вспомнились вчерашнія нянины слова:

— Какъ ни молись, Танечка, а въ монастырь тебя не возьмутъ. Ты, что больше молишься, то толще дѣлаешься.

Таня весело подумала:

«Богъ меня любитъ, посылаетъ мнѣ здоровье».

И вдругъ опять ей стало стыдно этой хвастливой мысли. Она закрыла ярко-покраснѣвшее лицо полными, загорѣлыми руками, встала на песокъ дорожки голыми колѣнями и молилась.

Уже она хотѣла подняться съ колѣнъ, какъ вдругъ подумала, что мысли ея о только-что увидѣнномъ снѣ были грѣшныя. Грѣшными въ нихъ было то, что лицо свѣтлаго воина показалось ей похожимъ на лицо Ричарда. Она опять закрыла лицо руками и молилась долго.

Когда она встала и пошла по сырымъ еще пескамъ дорожекъ къ садовой рѣшеткѣ, чтобы смотрѣть на широкую тамъ, далеко внизу, рѣку, ей все же было весело и радостно, и лицо Ричарда припоминалось ей. И уже она не упрекала себя за это.

«Что жъ такое!—думала она.—Вѣдь я же его не люблю. А если онъ любитъ быть со мною, то это, можетъ быть, потому, что онъ любитъ спорить и дразнить меня, а я должна это терпѣть. Можетъ быть, потому у дивнаго воина было Ричардово лицо, чтобы дать мнѣ понять, что я не должна такъ много съ нимъ спорить и такъ отстаивать правоту моей вѣры. Кротостью и смиреніемъ я скорѣе достигну того, что онъ меня пойметъ,—вѣдь онъ очень добрый и милый человѣкъ».

Никого не было въ саду, и по дорогѣ за рѣшеткою никто еще не шелъ.Таня стояла долго, и уже легкая дрема упала на ея глаза. И вдругъ за рѣшеткою сада послышались быстрые, увѣренные шаги, скрипнула калитка, и, похожій на видѣніе утренняго сна, въ свѣтлой лѣтней одеждѣ, передъ Танею сталъ, весело улыбаясь, Ричардъ.

— О, какъ вы рано сегодня встали!—сказала Таня, протягивая ему руку.

— Какъ всегда, милая Таня, раньше васъ,—отвѣчалъ Ричардъ.

— Ну,—начала-было Таня спорить, но вспомнила свои недавнія мысли, стала еще румянѣе и засмѣялась.

— Что вамъ сегодня снилось?—спросилъ Ричардъ.

«Хочетъ надо мной посмѣяться?—подумала Таня.—Ну, и пусть смѣется».

Но, всмотрѣвшись въ его лицо, Таня увидѣла на немъ необыкновенное выраженіе серьезности и значительности. Сердце ея предвѣщательно забилось, и она почувствовала, что голосъ ея звенитъ трепетно, когда она говорила:

— Представьте себѣ, Ричардъ, я видѣла во снѣ васъ, и въ свѣтлой одеждѣ, въ одеждѣ воина.

Ричардъ и не думалъ засмѣяться. Онъ смотрѣлъ на Таню очень удивленными глазами.

— Таня,—сказалъ онъ,—вы видите удивительные сны. Я вѣдь затѣмъ и пришелъ къ вамъ, чтобы разсказать вамъ новость,—я поступилъ добровольцемъ въ русскую армію.

Таня задрожала.

— Вамъ холодно?—участливо спросилъ онъ.

Она молча покачала головою. Сердце ея билось больно и тревожно. Она разсказала Ричарду, что сказалъ ей свѣтлый воинъ ея сна.

— Таня,—спросилъ Ричардъ, нѣжно заглядывая въ ея глаза,—а больше ничего онъ вамъ не сказалъ?

— Нѣтъ, ничего,—тихо отвѣчала Таня.

Страшно, стыдно и сладко стало. Знала, что онъ сейчасъ скажетъ ей.

— Не сказалъ, что я васъ люблю?—опять спросилъ Ричардъ.

Танѣ стало вдругъ весело. Еще стыдящимися глазами она посмотрѣла на него, какъ смотрятъ на солнце, со страхомъ и съ радостью, и сказала:

— Ричардъ, мнѣ этого не надо говорить,—я это сама знаю.

Ричардъ покраснѣлъ. Взволнованнымъ голосомъ,—первый разъ такой голосъ слышала Таня у своего обычно флегматичнаго друга,—онъ спросилъ:

— А вы, Таня?

Она опустила глаза. Тихо, тихо сказала:

— А развѣ это надобно говорить?

И сказала громко и смѣло:

— Ричардъ, мое сердце меня еще никогда не обманывало. Я вѣрю въ Бога и молюсь Ему, и Богъ ко мнѣ милостивъ,—я знаю, что ты вернешься ко мнѣ, что тебя не убьютъ.

И вдругъ застыдилась, закрыла лицо локтями милой руки, подражая стыдливому движенію деревенской дѣвушки.

— Что же это я говорю?—подумала она.

И только теперь поняла, какъ взволнована и обрадована ея душа тѣмъ, что ея милый спорщикъ Ричардъ захотѣлъ сражаться за Россію, которую она такъ богомольно любитъ. Обрадована ея душа, и словно развязана, и теперь она смѣетъ и хочетъ его любить.

Смѣясь и плача,—не отъ горя, отъ высокой радости,—она почувствовала на своемъ жаркомъ локтѣ его сильную руку. Сопротивля-

лась-было, да недолго,—какъ она ни сильна, а онъ все-таки сильнѣе, отвелъ ея локоть, прямо въ радостные ея глаза смотритъ.

Таня засмѣялась, протянула ему руку.

— Желаю тебѣ счастливаго пути и успѣховъ,—сказала она и сильно пожала его руку.

— Таня, а развѣ ты меня не поцѣлуешь?—спросилъ онъ, привлекая ее къ себѣ.

Она обвила его шею руками, заплакала разнѣженно и счастливо и цѣловала долго, долго. Безъ конца цѣловала бы, да послышались на ближнихъ дорожкахъ голоса и шаги сестеръ.

— Милый, милый!—шепнула она, взяла его за руку и повела въ домъ, къ мамѣ.

Ѳедоръ Сологубъ.

БЕЛЬГІИ.

Король-Баярдъ, безъ страха и упрека,
Отмѣченный для подвига судьбой,
На грудь свою, по грозной волѣ рока,
Ты принялъ первый, самый страшный бой.

Король-Баярдъ, ты, чей девизъ—«свобода»,
Чей благородный духъ неустрашимъ—
Пошелъ ты смѣло во главѣ народа,
Чтобъ до конца испить всю чашу съ нимъ.

Войны кровавой мрачная страница
Полна нежданной, свѣтлой красоты:
Вѣдь льва любить способна только—львица,
Не разлучить ихъ царственной четы.

Опасности, отчаянье, невзгоду
Она съ тобою дѣлитъ пополамъ.
Вѣрны вы оба своему народу,
Какъ вашъ народъ остался вѣренъ вамъ.

Въ исторіи безстрастныя скрижали
Священныя внесутся письмена,
О томъ, какъ слово вы свое сдержали,
И какъ за то погибла вся страна.

О, если бы опять она окрѣпла,
Минувшими страданьями горда,
Какъ фениксъ снова, возродясь изъ пепла
Для счастія и мирнаго труда!

Молва казнитъ злодѣевъ вѣроломства,
Героевъ—ждетъ и память, и почетъ:
Тебя—Великимъ назоветъ потомство,
Елизавету—Вѣрной наречетъ.

Вы заслужили лавры вѣчной славы,
И ты, король, и твой народъ-герой;
Но плачьте, плачьте, мощныя державы
Надъ младшею прекрасною сестрой.

За васъ она пошла въ борьбу безъ стона,
За васъ всей кровью жертвуетъ родной...
Склонитесь же съ почтеніемъ, знамена,
Предъ маленькой великою страной!..

Т. Щепкина-Куперникъ.

ПРИ ЛУННОМЪ СВѢТѢ.

(Разсказъ офицера).

I.

Вытянувшіяся безконечной вереницей по обѣ стороны дороги деревья уже давно потеряли свою золотистую листву, которая опала на землю шелестящимъ, мягкимъ ковромъ, и теперь раскачиваемыя холоднымъ осеннимъ вѣтромъ они только шумѣли своими черными, голыми сучьями...

Шоссе было гладкое, какъ паркетный полъ, и гулко звучали мѣрные шаги трехъ людей, направляющихся къ рѣкѣ, берегъ которой различался въ темнотѣ по черной полосѣ окаймлявшаго его кустарника.

Ночь была холодная, ясная, и небо, черное и безоблачное, сіяло серебряными точками мерцающихъ звѣздъ...

Поля молчали...

Гдѣ-то въ нихъ таились секреты, сидѣли или лежали, согнувшись и прильнувъ къ землѣ, люди въ куцыхъ шинеляхъ съ винтовками въ рукахъ, но отсюда въ черной дали безбрежныхъ полей, шумящихъ какъ море, ничего не было видно даже при лунѣ, полной и яркой.

По дорогѣ шли мы втроемъ...

Два офицера и ефрейторъ второго взвода Сорминъ... Надо было провѣрить вновь разставленные посты и секреты на берегу рѣки, по теченію которой нѣсколько выше цѣлые два дня кипѣлъ бой... Цѣлые два дня массы нѣмцевъ пытались перебросится на этотъ берегъ, дѣлали множество попытокъ навести мосты, гибли вмѣстѣ съ осыпаемыми нашими снарядами понтонами и, наконецъ, обезсиленные, потерявшіе надежду, сперва начали отступать, а послѣ побѣжали, увлекаемые задними рядами, побѣжали, теряя обозы, бросая орудія и раненыхъ...

И бой закончился къ ночи... Тишина спустилась на поля вмѣстѣ съ сумерками, вмѣстѣ съ холодомъ осенняго сырого вечера.

Противоположный берегъ былъ чистъ... Казаки переправились на него, но не нащупали непріятеля: онъ продолжалъ поспѣшно отступать, и даже прикрывающія его части вышли изъ соприкосновенія съ нашими разъѣздами...

II.

Мы подвинулись внизъ по теченію, все же опасаясь новыхъ попытокъ переправиться со стороны нѣмцевъ...

Но все было тихо!..

Разставили секреты и посты, едва спустились сумерки и зашумѣлъ въ поляхъ холодный ночной вѣтеръ.

Рѣка, весь день катившая свои волны, какъ казалось, безшумно, теперь вдругъ забурлила, загудѣла въ прибрежныхъ камышахъ и кустарникахъ.

Мы шли молча, невольно стараясь шагать «въ ногу» такъ, чтобы звукъ нашихъ шаговъ сливался въ одно мѣрное постукиваніе по гладкому твердому, какъ асфальтъ, шоссе...

Сорминъ шелъ впереди... Онъ зналъ расположеніе секретовъ и постовъ и велъ насъ, взявъ винтовку «на ремень», поставивъ воротникъ шинели и глубоко запрятавъ руки въ рукава...

— Сейчасъ налѣво пойдемъ!—произнесъ онъ вдругъ, останавливаясь, но не поворачивая къ намъ головы.

Влѣво шла узкая, почти незамѣтная тропинка между двухъ стѣнъ оголеннаго, колючаго кустарника, и Сорминъ быстро пошелъ впередъ, раздвигая вѣтки и не оборачиваясь: онъ слышалъ по шуршанію кустовъ, что мы слѣдуемъ за нимъ!

Усталость дня сказалась теперь! Послѣ боя удалось только прилечь часа на два прямо на травѣ въ ожиданіи приказанія о перемѣнѣ позиціи, но даже заснуть не удалось, какъ слѣдуетъ: мозгъ, воспаленный, измученный переживаніями дня, лихорадочно работалъ, воспроизводя картины, дѣйствительно пережитыя и ужасныя, кошмарныя, фантастическія...

А послѣ снова пришлось встать, итти вмѣстѣ съ батальономъ по полю, вспаханному и изрытому, утомлявшему немилосердно ноги, до новаго бивуака, и только успѣли снять аммуницію и составить ружья, какъ полковникъ послалъ провѣрить посты и секреты...

Когда вышли, была уже совсѣмъ ночь лунная и холодная...

III.

Сорминъ внезапно остановился... Его темная, неуклюжая фигура наклонилась надъ землей и подняла что-то, что именно мы сразу не могли разобрать...

— Никакъ фуражка, ваше бл—діе,—произнесъ онъ, протягивая намъ дѣйствительно австрійское кепи, опоясанное золотымъ галуномъ...

«Какъ оно могло сюда попасть?»—задали мы сами себѣ безмолвный вопросъ; непріятель на этомъ берегу не былъ и не могъ быть, а тѣмъ болѣе не могло оказаться въ этихъ кустарникахъ австрійское кепи?

Это было необъяснимо...

Кепи было офицерское съ золотой узенькой каемкой кругомъ, съ клеймомъ «Вѣна» и буквами I. Ф. на околышѣ.

Мы всѣ трое долго шарили въ кустахъ, вокругъ этого мѣста, обыскали всѣ углубленія и черныя чащи, но не нашли и признака непріятеля...

— Одно, развѣ, что съ аэроплана уронилъ!—проворчалъ недовольно Сорминъ, и насъ мгновенно осѣнила мысль: конечно, кепи упало съ пролетѣвшаго надъ рѣкой и надъ нашими позиціями аэроплана!..

Всѣ тревожныя сомнѣнія вмигъ разсѣялись, стало даже смѣшно, когда представили себѣ офицера австрійскаго генеральнаго штаба, съ котораго ледяные порывы вѣтра сорвали головной уборъ и насмѣшливо бросили въ самый центръ непріятельскаго расположенія...

Но Сорминъ уже шагалъ дальше...

Справа и слѣва обступавшіе насъ кусты дѣлались все выше и выше, все тѣснѣе и гуще наступали черныя стѣны вѣтвей, а тропинка между тѣмъ начала круто спускаться внизъ къ рѣкѣ...

Сквозь сучья уже блеснуло ея черное зеркало, кажущееся сперва неподвижнымъ, но на самомъ дѣлѣ быстро несущееся мимо безмолвныхъ береговъ; мы миновали послѣдніе кустарники и вышли на узкую полосу прибрежнаго песку...

Невдалекѣ располагался первый постъ.

Часовой и подчасокъ сидѣли у самаго берега, какъ-то странно сжавшись, словно охвативъ колѣни руками; около нихъ торчали штыки винтовокъ; оба они слились въ одно пятно и не различались на фонѣ берега и кустовъ.

Сорминъ хотѣлъ было ихъ окрикнуть, но, вѣроятно, заслышавъ хрустѣніе песку подъ нашими ногами, оба солдата вдругъ вскочили— сдѣлались неподвижные, какъ двѣ черныя статуи, у самой воды, пока мы не прошли мимо...

— Мѣсто скушное, ваше б-діе,—промолвилъ Сорминъ, какъ бы извиняясь за присѣвшихъ часовыхъ,—особливо ночью...

Никто не отвѣтилъ ему, и мы продолжали пробираться по краю берега, внизъ по теченію, по направленію на шумъ, далекій, непрерывный и непонятный...

— Что это?...—спросилъ Сормина мой спутникъ,—что это шумитъ?..

— Это, должно, мельница, ваше б-діе...—отвѣтилъ, прислушиваясь, ефрейторъ,—тамъ и постъ второй поставленъ... минутъ за десять дойдемъ...

IV.

Снова тронулись въ путь...

Тишина ночи и этихъ полей, послѣ грохота боя, рева орудій и трескотни пулеметовъ, теперь казалась еще болѣе непробудной и ненарушимой... Не представлялось, что можетъ наступить опять утро, сдернуть черный покровъ съ береговъ и заиграть свѣтлыми бликами на глади рѣки; казалось, что эта ночь, спустившаяся и заставившая людей прекратить кровопролитіе, будетъ вѣчная, что она сошла для того, чтобы навсегда скрыть подъ своимъ покровомъ ужасные слѣды закончившагося дня...

Между тѣмъ, шумъ мельницы дѣлался все явственнѣе... Теперь уже отчетливо слышался скрипъ и тяжкіе вздохи мельничныхъ колесъ и однообразное клокотанье воды, бѣгущей сквозь плотину.

За поворотомъ рѣки показалась, наконецъ, сама мельница, темная и таинственная, крутящая своими колесами въ бѣломъ пѣнистомъ потокѣ рѣки.

Она словно висѣла надъ этимъ потокомъ, разбивающимся о ея сваи, поросшія длинной зеленой бахромой; она словно отдѣлилась отъ земли и, вертя своимъ чернымъ колесомъ, плыла вверхъ по рѣкѣ, но стремительное теченіе удерживало ее на прежнемъ мѣстѣ...

Съ одной стороны, черный корпусъ мельницы огибали мостики, доходившіе до самаго колеса и постоянно орошаемые алмазнымъ дождемъ медленныхъ брызгъ, съ другой—къ мельницѣ вплотную подступалъ низкій прибрежный кустарникъ...

V.

Постъ былъ расположенъ на берегу подъ прикрытіемъ мельничнаго зданія и, когда мы подошли, часовой стоялъ у самой воды, прижавшись спиной къ сѣрымъ, мокрымъ балкамъ стѣны...

— Ну, что!..—окликнулъ его Сорминъ,—все благополучно?..

Часовой молчалъ...

Мы приблизились, и ефрейторъ еще разъ окликнулъ неподвижнаго, темнѣвшаго на фонѣ стѣны, солдата...

— Такъ точно!..—отвѣтилъ на этотъ разъ слабый дрожащій голосъ, казалось, голосъ человѣка или тяжело раненаго или чѣмъ-то потрясеннаго.

— Что съ тобой?..—спросили мы, подходя...—можетъ быть, боленъ ты или раненъ...

У солдата было блѣдное лицо и широко открытые полные ужаса глаза...

— Нѣ-ѣтъ...—пролепеталъ онъ,—страшно очень... спаси Господи, какъ страшно...

Мы недоумѣвали.

— Чего же страшнаго?..—спросилъ Сорминъ...

— Вона... глянь-ка...—кивнулъ часовой по направленію рѣки и тотчасъ же отвелъ глаза...

Сперва я ничего не замѣтилъ, но, приблизившись къ водѣ и всмотрѣвшись въ темноту ея поверхности, мы всѣ различили какой-то продолговатый, черный предметъ, приставшій къ берегу и неподвижный...

Надо было присмотрѣться къ его очертаніямъ такъ пристально, какъ могъ присмотрѣться только за четыре часа своего дежурства часовой, чтобы различить, что это было человѣческое тѣло. При свѣтѣ луны прямо на солдата глядѣло его безкровное блѣдное, омываемое холодными струями лицо, искаженное предсмертнымъ страданіемъ и ужасомъ; прямо на часового были устремлены широко раскрытые, словно зрячіе глаза, остановившіеся и какъ бы всматривающіеся пристально во что-то; тѣло плавно покачивалось и волосы шевелились вокругъ его головы, какъ черная, живая масса... На покойникѣ былъ изорванный австрійскій мундиръ и даже виднѣлся пристегнутый штыкъ и ранецъ...

Очевидно, онъ былъ сброшенъ въ рѣку русскими штыками, загнанъ въ воду и упалъ въ ея холодную могилу, быть можетъ, еще живой, истекающій кровью...

Мы въ ужасѣ отступили назадъ...

Сорминъ снялъ шапку и перекрестился...

— Надо часового перемѣстить,—распорядился мой спутникъ.— Сорминъ, толкни его штыковъ—пусть плыветъ...

Ефрейторъ опасливо подошелъ къ берегу и толкнулъ штыкомъ отъ песка трупъ, но сколько онъ послѣ ни старался заставить его выплыть на средину рѣки, утопленникъ, словно вцѣпившись въ корни прибрежныхъ кустовъ мертвыми пальцами, не выпускалъ ихъ изъ рукъ и не отплывалъ...

— Оставь его!..—съ ужасомъ остановили, наконецъ, мы Сормина,—надо просто переставить часового...

— Нѣ-ѣтъ...—застоналъ солдатъ.—Никакъ нѣ-ѣтъ... не одинъ онъ тутъ... много ихъ...

Мы всмотрѣлись въ бѣлую, пѣнистую поверхность рѣки, набѣгавшей на колесо...

Въ жемчужной кипящей полосѣ и выше по отсвѣчивающей сталью отъ луннаго свѣта поверхности рѣки плыли медленно десятки такихъ же черныхъ предметовъ...

То ныряя, то снова выплывая, выглядывая изъ-подъ воды своими безкровными лицами и остеклянѣвшими ужасными глазами, плыли внизъ по теченію побѣжденные австрійскіе солдаты...

Крутясь и наталкиваясь другъ на друга, они словно спѣшили къ черному крутящемуся колесу, перебрасывались черезъ него и исчезали съ глухимъ шумомъ въ глубинѣ рѣки...

Они плыли искать свои могилы!..

Мы всѣ четверо, потрясенные и взволнованные ужасомъ только что увидѣннаго, стояли на берегу, слѣдя за этой мрачной процессіей.

Они проходили передъ нами, наши побѣжденные враги, въ своемъ послѣднемъ шествіи. Безмолвные и потрясенные, мы долго стояли у самой воды, не имѣя силъ оторвать глазъ отъ плывущихъ труповъ...

И послѣ, когда мы вернулись на бивуакъ, даже послѣ того, какъ насъ развлекли разсказомъ объ удачно захваченномъ въ эту ночь австрійскомъ авіаторѣ, вѣроятно, томъ самомъ, кепи котораго мы нашли въ чащѣ кустовъ, когда я примостился въ углу палатки на сырой шинели, рѣшивъ, во что бы то ни стало, вздремнуть хоть часа два, мнѣ долго мерещились плывущіе при лунномъ свѣтѣ внизъ по рѣкѣ, къ колесу водяной мельницы мертвые австрійцы, ихъ искаженныя безкровныя лица и колышащіеся вокругъ головъ волосы...

Вадимъ Бѣловъ.

БУДУЩЕЕ БЕЛЬГІИ.

Въ глубокій трауръ облеклась та скромная миролюбивая страна, въ которой еще три мѣсяца тому назадъ ничто не предвѣщаго вражескаго разгрома. Поруганы святыни Бельгіи, осквернены сокровищницы ея искусства, разграблены ея житницы и завалены трупами ея пастбища. Новые вандалы и гунны прошли губительнымъ вихремъ по цвѣтущему краю и вездѣ оставили неизгладимый кровавый слѣдъ. Еще не одно бельгійское поколѣніе будетъ съ содроганіемъ вспоминать о страшномъ кошмарѣ на яву въ безпримѣрный годъ отечественной исторіи.

Въ лѣтописяхъ бельгійскаго племени нѣтъ страницъ, говорящихъ о его стяжательныхъ наклонностяхъ или о наступательномъ боевомъ задорѣ. Этотъ древній народъ всегда лишь мужественно оборонялся. Еще Юлій Цезарь называлъ белговъ самымъ героическимъ народомъ Галліи, а знаменитый греческій географъ Страбонъ изумлялся тому богатырскому сопротивленію, которое оказали они нашествію кимвровъ и тевтоновъ.

У Пруссіи съ Бельгіей старые злопамятные счеты, о которыхъ, повидимому, позабыли другія державы. Когда въ 1830 году въ Бельгіи вспыхнула 25 августа революція и мятежъ въ Брюсселѣ принялъ быстро серьезные размѣры—между крупнѣйшими европейскими государствами возникли тревожные переговоры. Пруссія стала грозно бряцать оружіемъ. Французскій министръ иностранныхъ дѣлъ заявилъ прусскому послу въ Парижѣ, что Франція не допуститъ вторженія иноземныхъ войскъ въ Бельгію для подавленія революціи, и что всякое вооруженное вмѣшательство заставитъ Францію немедленно объявить войну его иниціатору. Пруссія поспѣшила успокоить французское правительство и завѣрить его, конечно, лицемѣрно, что никогда не желала выступить передовымъ борцомъ за консервативный принципъ и проливать кровь своихъ подданныхъ для вразумленія недальновидныхъ бельгійскихъ республиканцевъ. Само собою разумѣется, что берлинскіе политики съ тѣхъ уже поръ глубоко затаили свои мстительные замыслы. Эти мелкіе уколы правитель-

ственнаго самолюбія были бы черезъ 80 лѣтъ забыты, если бы нежданно-негаданно для нѣмецкихъ полководцевъ Бельгія не отказалась осуществить на практикѣ ихъ дикую теорію нейтралитета и пропустила безпрепятственно черезъ свою территорію во Францію тевтонскіе полки.

Благородная Бельгія не соблазнилась корыстными перспективами нѣмецкой признательности и осталась рыцарски вѣрна международному долгу. Въ лучшемъ случаѣ, побѣдоносный Вильгельмъ могъ бы отъ великодушныхъ щедротъ своихъ предложить Бельгіи скудныя территоріальныя прирѣзки или заманчивыя торговыя комбинаціи. Въ худшемъ, болѣе вѣроятномъ, случаѣ, торжествующая Германія уподобилась бы тому гомеровскому Циклопу, который изъ благодарности любезно обѣщалъ Одиссею, что съѣстъ его послѣднимъ.

Теперь, когда героическій бельгійскій народъ не захотѣлъ малодушно дожидаться своей трагической очереди и безстрашно подошелъ къ самой пасти милитаристическаго Циклопа, Германія припомнила Бельгіи злорадно все до давнихъ ничтожныхъ колоніальныхъ размолвокъ включительно. Опьяненная нѣкоторыми пирровыми побѣдами на своемъ сѣверо-западномъ фронтѣ, Германія чрезвычайно просто рѣшила вопросъ о будущемъ непокорной Бельгіи. Нѣмецкіе публицисты склонны объяснять только «тупостью» бельгійцевъ ихъ непоколебимую надежду на освобожденіе родины отъ тевтонскаго ига. Будущее поверженнаго дерзкаго противника рисуется въ самыхъ отрадныхъ для собственнаго національнаго самолюбія чертахъ тѣмъ политикамъ-пророкамъ, которые еще недавно были увѣрены въ нейтралитетѣ Англіи и Японіи, въ полномъ содѣйствіи Италіи и во многомъ другомъ, что теперь оказалось пустой самонадѣянной иллюзіей. Неисправимые оптимисты берлинскихъ газетъ твердятъ вслѣдъ за шовинистической «Post»: Бельгія собственными грѣхами лишила себя права на снисхожденіе. Бельгія должна быть стерта съ лица земли и превращена въ инкорпорированную провинцію чисто-германской культуры. Остендэ и Калэ должны стать операціонными базами для нѣмецкаго десанта въ Англію, а Антверпенъ обязанъ послужить «мѣткимъ пистолетомъ въ Лондонъ».

Бельгія знала, конечно, что бой ея съ Германіей слишкомъ неравенъ, что ей сужденъ неминуемо мученическій, а не побѣдный вѣнокъ. Тѣмъ не менѣе, она безтрепетно поднялась навстрѣчу жестокому сосѣду и очень дорогою цѣлой позволила сильнѣйшему врагу услаждаться временной побѣдой.

Тѣ презрѣнныя попытки сенсаціонныхъ разоблаченій, которыя были недавно сдѣланы германской дипломатіей для того, чтобы непремѣнно доказать виновность Бельгіи, тѣ іезуитскіе извороты, которыми нѣмецкая офиціальная печать тщетно старается повернуть въ бельгійскомъ вопросѣ общественное мнѣніе Европы въ свою сторону, свидѣтельствуютъ только о нравственномъ безсиліи зарвавшагося нѣмецкаго милитаризма.

Будущее Бельгіи можетъ быть рѣшено только тройственнымъ согласіемъ державъ, когда это согласіе доведетъ до конца свою сокрушительную борьбу съ тевтонскимъ варварствомъ и навсегда вырветъ ядовитое жало у милитаристическаго дракона. Тогда Бельгія будетъ справедливо вознаграждена за мученическую кровь и слезы дѣтей ея.

Какъ самоотверженный богатырь рыцарской легенды, Бельгія приняла въ свою грудь всѣ копья первыхъ вражескихъ рядовъ и тѣмъ дала возможность своимъ соратникамъ выиграть время и вѣрнѣе направить побѣдоносные удары. За такую громадную заслугу защитники міровой справедливости сумѣютъ отстоять политическую самостоятельность героической Бельгіи.

Проф. Валентинъ Сперанскій.

СТРАНИЧКИ.

I.

Вы можете разрушить башни
И осквернить святой соборъ,
Вы можете спалить всѣ пашни
И заповѣдный, старый боръ.

Въ дыму дворцовъ и библіотекъ
Спокойно и легко дышать,
Метнувъ въ Мадонну дерзкій дротикъ,
Не вскрикнуть, не затрепетать.

Позоръ воителя Омара
Предъ вашимъ нынѣшнимъ—ничто.
Средь стона жертвъ, въ огнѣ пожара—
Одно безумье разлито.

Испепеляйте, грабьте, жгите!
Презрѣнье вамъ отвѣтъ,—не страхъ.
Съ небесъ невидимыя нити
Возстановляютъ падшій прахъ.

И мраку косности тлетворной
Не затемнить на зло вѣкамъ
Свободный и нерукотворный
Сердцами строящійся храмъ!

М. Кузминъ.

II.

...Скомандовалъ ротмистръ: «галопомъ!..»
Зловѣще провыли рога...
И мчащимся бѣшенымъ скопомъ
Обрушились мы на врага.

Храпящія конскія морды...
Усатыя лица солдатъ...
Удары мгновенны и тверды...
Какъ молніи, пики блестятъ...

Навстрѣчу огромная каска...
Взвилась обнаженная сталь...
Сѣдло подъ нимъ было ли тряско?—
Свалился и встанетъ едва ль...

Минуту мы бились, часъ ли?..
...Мой конь захрипѣлъ подо мной...
Очнулся я... Въ сумракѣ гасли,
Блѣднѣли звѣзда за звѣздой.

На стонъ мой, на голосъ страданья
Отвѣтили вздохомъ кусты...
Но вскорѣ сквозь трепетъ сознанья
Я гдѣ-то увидѣлъ кресты...

...Несли меня... бережно клали...
И вотъ надо мною сестра
Лепечетъ съ улыбкой печали:
«Вы были героемъ вчера...»

Алексѣй Липецкій.

ГОРНО.

Плещетъ огонь. Пузырится продуваемый чугунъ. Гнѣваются бессемеры. Жабрами апокалипсическихъ рыбъ дышатъ мѣха горновъ. Валятъ, везутъ, подваливаютъ металлъ. Побѣдить міръ вѣдь можно только металломъ, какъ и поддерживаютъ миръ опять черезъ посредство металла.

Нескончаемо-черными бусами катятся къ зѣву горнъ лилипуты-вагонетки. Весь чугунъ, всю сталь, всю мѣдь—въ формы.

И если можно было бы всѣ чаянія коллективной души и даже самую душу добраго нѣмецкаго народа влить въ формовочныя пушечныя колоды, то сдѣлали бы давно.

Вали въ горно, подваливай! Пусть зрѣютъ и совершенствуются плоды истребленія—сорокадвухсантиметровыя жерла, аллюминіевое сверканіе аэроплановъ, сталь палашей, чугунъ бризантныхъ снарядовъ, истерически хохочущихъ во мглѣ, облѣпившей страну отъ межи къ межѣ; все пожрано одной идеей, однимъ представленіемъ.

— Кипи горно. Поѣдай, пережевывай сталь, аллюминій, желѣзо, чугунъ. Выплюнь милліонъ клыковъ, милліардъ бивней. Стадомъ слоновъ пустимъ армію на фарфоръ, старины, на картинныя галлереи, замки, соборы и музеи!

Изъ всего металла, имѣющагося въ наличіи страны, должна отлиться въ сверкающемъ колоссѣ побѣда померанскихъ выходцевъ надъ всей землей.

Мечта, что и говорить, по-своему, величественная и красивая, но одно дѣло замыселъ и другое дѣло осуществленіе этого замысла. Въ темноватой мастерской Челлини шла та же работа. Когда не хватало золота на отливку статуи, съ трепетныхъ пальцевъ мастеръ снялъ перстень, бросилъ въ огонь кубки, еще пахнущіе темнымъ и крѣпкимъ виномъ. Флорентійскій искусникъ зналъ, что дѣлалъ. Первымъ въ огонь бросилъ вмѣстилище сладко-дурманящаго алкоголя. Ибо и безъ спиртныхъ напитковъ было чѣмъ опьяниться въ пряномъ и кружащемъ голову дѣлѣ созиданія.

Берлинскіе военныхъ дѣлъ мастера въ пушечныя формы не бро-

сятъ своихъ кубковъ. Ихъ дѣло темное и жалкое. Разрушителю нуженъ спиртъ, какъ мотору бензинъ. На неправое дѣло разрушенія могутъ двинуть только пьяные мозги, только перебродившій солодъ. Трезвость къ лицу побѣдителю, нѣмцы же за пѣнящимся шниттомъ кульмбахскаго будутъ отливать все новыя и новыя чудища: горизонтальныя гаубицы, вертикальныя мортиры. Между прочимъ, въ новомъ изобрѣтеніи нѣмецкаго генія, которымъ такъ усердно похвалялся умный Клюгге, и дано то предѣльное, на что способна техника, подавшая руку жестокости. Въ вертикальныя мортиры, насколько точно можно судить по доходящимъ до Петрограда свѣдѣніямъ, вложенъ принципъ старинныхъ духовыхъ оружій.

Какъ извѣстно, духовыя ружья выдуманы задолго до духовыхъ музыкальныхъ инструментовъ. И то и другое придумала нація Клюгге. На духовые инструменты работалъ монахоподобный, молитвенный Гендель, на духовыя ружья работалъ монахъ Шварцъ.

Была полоса на целесты сладкогласныя и нѣжныя; въ прохладѣ нѣмецкихъ церквей онѣ уносили на своихъ клапанахъ молитвы въ небо, не покрытое пушечными пятнами. Но вѣкъ целесты ушелъ и настало время «манлихеровъ».

Вспомнили музейную древность, духовое ружье, и примѣнили его строеніе къ вертикальнымъ духовымъ пушкамъ. Это «послѣднее слово» при выпусканіи изъ своего чрева снаряда окутываетъ его покровомъ воздуха, который бѣшено-взмахивающей мантіей покрываетъ при полетѣ большія воздушныя плоскости.

Новая смертоносная «целеста» своимъ духомъ, направляемымъ вертикально въ то же самое долготерпѣливое небо, будетъ сбивать летательныя машины не только снарядомъ, но и воздушнымъ саваномъ снаряда, атмосфернымъ смерчемъ.

Дальше итти некуда. Французъ Тюрпенъ изобрѣлъ, правда, свой сказочный «тюрпенитъ», но что-то не видно его въ примѣненіи. Колоннъ позеленѣвшихъ отъ дыма нѣмецкихъ солдатъ, стоящихъ мертвецовъ съ лопнувшими подкожными сосудами—ихъ нѣтъ. «Тюрпенитомъ» я, было, очень заинтересовался и какъ-то бесѣдовалъ по этому поводу съ профессоромъ Чугаевымъ. Нашъ ученый мало придаетъ вѣры изобрѣтенію, которое могло бы въ одинъ пріемъ полки цвѣтущихъ пруссаковъ превращать въ стоячее кладбище, а цѣлые корпуса—въ прозрачные сады Наины.

Профессоръ говорилъ мнѣ:

— Козырь нѣмцевъ трудно перекрыть. Самое сильное въ мірѣ взрывчатое вещество много лѣтъ тому назадъ придумано нѣмцемъ

Курцеліусомъ, но эти свинцовыя соли такъ чувствительны не только къ толчкамъ, но и къ легчайшимъ колебаніямъ, что больше угрожаютъ самимъ артиллерійскимъ частямъ, чѣмъ вражескимъ воинамъ.

Слѣдовательно, все, что можно было сдѣлать для утучненія кладбищъ, нѣмецкими учеными сдѣлано.

Фонъ-Клюгге можетъ только печалиться, что ужасные виды смерти, хранящіеся въ портфелѣ Курцеліуса, нельзя выпустить на свѣтъ Божій. И ихъ много еще, такихъ портфелей, шагреневыхъ вмѣстилищъ злорадства и жажды опустошенія.

Такъ бодро и увѣренно шагать по трупамъ могутъ только люди безъ религіи, безъ Бога въ небѣ, а тѣмъ паче безъ спеціально нѣмецкаго Бога, которымъ язычески-приподнято хвастается такъ часто кайзеръ. Недаромъ у этой страны съ казеннымъ облакомъ въ аннексированныхъ небесахъ, съ лично присвоеннымъ Богомъ тамъ много людей, которые не причисляютъ себя ни къ какому разряду религіозно мыслящихъ. Не атеисты они, нѣтъ. Атеизмъ—парадоксъ вѣры, ея страстная антитеза, ея подкладка, которая подчасъ больше грѣетъ, чѣмъ щеголевато-офиціальный верхъ. Не атеисты, а «нигилисты». Года четыре тому назадъ въ Берлинѣ основался особый комитетъ, облегчающій дѣло выхода изъ религіозныхъ общинъ. Свободу вѣры и невѣрія, само собой разумѣется, можно только привѣтствовать, но если изъ 3,4 милліона столичныхъ жителей цѣлыхъ три процента отреклись отъ всякихъ небесъ,—то надъ этимъ должно задуматься. Ужъ точно ли надъ полосатыми будками егерей, надъ казармами кирасиръ виситъ круглое казенное облако, на которомъ сидитъ свое полковое божество?

Кайзеръ тычетъ высохшимъ перстомъ въ небо, лучше бы на землю посмотрѣлъ: его народъ такъ ли охотно вѣритъ въ то облако, въ тотъ духъ, въ то небо.

Целесты тянули когда-то благословенія съ неба на землю, духовыя орудія разсѣяли эти благословенія, и небо надъ многими отчаявшимися нѣмцами такъ же пусто, какъ пусты слова императора, брошенныя въ горно лучшее, чѣмъ владѣлъ когда-то богатый и радостный духъ націи.

— Слова связаны, но, къ счастью, звуки еще свободны!—такъ писалъ въ австрійскую непогоду поэтъ Куфнеръ Бетховену.

Письму Куфнера ровно сто лѣтъ. Письму сладкогласой, молитвенной, уносящей въ лазурь эпохи целестъ.

А теперь, когда лазурь вверху черна отъ дыма, а внизу лазурь морей скоро покраснѣетъ отъ крови, когда рычатъ на всю подлунную

крупповскія собаки, «свободные звуки» пошли въ услуженіе къ генеральному штабу, которому давно служитъ «свободное слово» гг. фонъ-Клюгге.

Бѣдная страна. Тяжко вздыхаютъ горна, огневище печей застлало мирныя лица и на багровомъ пологѣ маленькій и жалкій, приземистый и плюгавый, университетскій нахлѣбникъ пытается реабилитировать небо, гдѣ нѣтъ Бога, землю, гдѣ нѣтъ чести...

Честь пошла пузырями въ бессемерахъ. А Богъ... Нѣмецкое небо давно уже пусто

Л. Пасынковъ.

С Н Ы.

Есть сны безсмысленно простые. «Снѣгъ и на снѣгу щепка»,—такъ разсказываетъ свой сонъ бабушка изъ «Обрыва». Есть сны механически, какъ въ кинемотографѣ, развертывающіе ленту пройденнаго дня, олицетворяющіе прочитанную книгу или слышанный разговоръ, повторяющіе глубже маленькую уличную сценку. Есть фантастическіе, запутанные и сложные сны, умышленно присочиненные и пріукрашенные во время утренняго полубодрствованія. «Разсказывающіе свои сны часто лгутъ»,—замѣчаетъ Меркуціо, другъ Ромео. Есть сны пророческіе, въ которыхъ наше второе я, наша вторая темная безсознательная, но вѣчная душа, освобожденная отъ дневного шума, отъ житейской пестрой суеты, отъ низменныхъ расчетовъ трусливаго ума и жадной игры самолюбія, тайно для насъ бодрствуетъ во всеоружіи своей безсмертной мудрости, оцѣниваетъ изъ глубины вѣковъ милліоны мелкихъ и великихъ событій, разсматриваетъ ихъ, какъ правильный, повторяющійся узоръ чудеснаго громаднаго ковра, который не разберешь вблизи, и видитъ естественно и легко его ближайшія очередныя сплетенія ткани.

Есть также сны повторяющіеся, знакомые каждому человѣку, общіе всему человѣчеству. Кому изъ насъ не приходилось съ трепетомъ пробираться надъ пропастью, по узкому карнизу, который становится все уже и уже подъ ногами, пока не сливается съ гладкою скалою? Кто изъ насъ не бѣжалъ отъ страшнаго преслѣдованія и не становился, какъ животное, на четвереньки, когда ноги отнимались, парализованные ужасомъ? Наконецъ, кто изъ насъ не леталъ?

Летаютъ во снѣ всѣ: взрослые и дѣти, женщины и мужчины, философы и глупцы, ученые и мужики, летаютъ негры, эскимосы, канибалы, туареги, утонченные европейцы, практичные американцы. Летали спящіе люди и въ глубокой древности: сѣдыя сказки, возрастъ которыхъ исчисляется десятками тысячъ лѣтъ, сказки всѣхъ народовъ земли убѣдительно говорятъ о коврахъ самолетахъ, о волшебныхъ полетахъ на драконахъ, на лебедяхъ, на орлахъ... А сказки не лгутъ. И я думаю, что когда-то, въ страшно отдаленные вѣка, предокъ совре-

меннаго человѣка леталъ не только во снѣ, но и въ яви. Когда это было? Въ тѣ ли безслѣдные вѣка, когда на землѣ царила необыкновенно высокая культура, смытая или испепеленная какимъ-нибудь міровымъ катаклизмомъ? Или еще раньше, милліоны лѣтъ тому назадъ, когда, подобно духу Божію, носился надъ водами крылатый прапращуръ человѣка?

Безсмертная живая клѣточка, хранящая въ себѣ всѣ накопленныя вѣками формы, свойства и раздраженія, не таитъ ли также въ своей непонятной намъ сущности и безсознательную память всей міровой исторіи?

Я помню отлично мои первые дѣтскіе полеты во снѣ. Тогда мнѣ ничего не стоило однимъ какимъ-нибудь внутреннимъ, непередаваемымъ усиліемъ потерять весь свой вѣсъ, отдѣлиться отъ земли, плавно подняться къ высокому потолку и лечь тамъ въ воздухѣ ничкомъ, грудью и лицомъ внизъ. Помню, люди, стоявшіе на землѣ, все старались достать меня оттуда и гонялись за мною съ длинными щетками. Но мнѣ было чрезвычайно легко уходить отъ преслѣдованія. Я дѣлалъ руками и ногами такія же волнообразныя скользящія, едва замѣтныя движенія, какія дѣлаетъ хвостомъ и плавникомъ плавающая рыба, и кругообразными зизгагами изящно и ловко парилъ въ воздухѣ. И внутри меня все время дрожалъ ликующій восторженный смѣхъ.

Потомъ я перемѣнилъ способъ летанія. Я бралъ въ руки рукоятки обыкновенной дѣтской скакалки, только вмѣсто шнура въ моемъ аппаратѣ была широкая, красная шелковая лента. Я быстро начиналъ вращать эту ленту вокругъ себя и тотчасъ же взмывалъ вверхъ, гораздо выше крышъ и деревьевъ. Леталъ я стоя, и отъ скорости вращенія ленты зависѣли скорость подъема и опусканія. Отставивъ немного въ сторону правую или лѣвую руку, я свободно описывалъ кругъ и вправо, и влѣво. Сильная радость цвѣла въ душѣ. Не такая могучая, какъ прежде, но живая и сладкая.

Потомъ съ каждымъ годомъ летать становилось все труднѣе и леталъ я все ниже и ниже. Еще нѣсколько лѣтъ тому назадъ не леталъ, а прыгалъ. Разбѣгусь, оттолкнусь отъ земли и лечу сажень 20, лечу невысоко, волнообразно, то поднимаясь, то опускаясь по своему желанію. И ощущеніе этого длительнаго прыжка было такъ очаровательно, что хотѣлось вѣрить, что я всегда, когда только захочу, могу повторить опытъ. И, цѣпляясь за эту мысль, я во снѣ убѣждалъ себя: «вѣдь, я не сплю! Если бы я спалъ, я не думалъ бы о томъ, что не сплю. Значитъ, я бодрствую. И значитъ,—какое счастье!—я всегда сумѣю прыгать также далеко, воздушно и пріятно!»

Теперь, на переломѣ лѣтъ зрѣлости, я уже не летаю и не прыгаю въ даль. Изрѣдка мнѣ удается подпрыгнуть на мѣстѣ на аршинъ высоты и продержаться въ воздухѣ секунды 2—3, отчаянно помогая себѣ руками. Я знаю, что вскорѣ и совсѣмъ перестану подниматься на воздухъ. Земля тянетъ и надо съ этимъ мириться. Но все-таки, если вѣрно то, что жизнь отдѣльнаго человѣка, это—краткое повтореніе исторіи всего человѣчества, то я упрямо утверждаю, что люди или ихъ таинственные предки когда-то летали.

И особенно я повѣрилъ въ это однажды, осеннимъ, яснымъ морознымъ утромъ, когда впервые пришлось мнѣ подняться на аэропланѣ. Мы тяжело и неуклюже отдирались отъ земли. Разъ десять подымались чуть-чуть, и опять падали, и жалко влачились по кочневатой, обмерзшей землѣ. Было немного жутко, немного противно и хотѣлось потрогать пилота за плечо и сказать ему: «Довольно, Ваня, я не хочу больше. Я слѣзу».

Но вотъ, какимъ-то чудомъ мы преодолѣли упорство аппарата, отдѣлились отъ земли и пошли все выше, выше, выше. Нѣтъ, мы не двигались, мы стояли на мѣстѣ, а земля, трибуны, дома, трамваи, деревья, трубы, заборы, дороги, столбы—все это плыло подъ нами назадъ. И прежнее младенческое чувство безмѣрнаго восторга, буйнаго и трепетнаго, охватило мою душу какимъ-то холоднымъ сладостнымъ пламенемъ. Какъ будто вмѣстѣ съ вѣсомъ спали съ меня и тяжесть годовъ, и печаль прошлаго, и будничныя заботы настоящаго, и подлый страхъ будущаго. И самая главная мысль,—нѣтъ, вѣрнѣе, главное чувство, было то, что всѣ эти ощущенія я уже испытывалъ когда-то давнымъ-давно, тысячи лѣтъ тому назадъ, испытывалъ такъ же живо, глубоко и радостно.

И тогда же я подумалъ, что не война, не политика, не умные разговоры, не конференціи приведутъ человѣчество къ братскому единенію, а великое искусство летанія, съ его чистыми блаженными радостями и съ его великой свободой. И теперь, когда крылья бѣлыхъ птицъ, крылья лучшей вѣчной мечты человѣчества бьются судорожно въ крови и въ огнѣ, я все-таки твержу упорно: «Человѣкъ леталъ. Человѣкъ полетитъ. Человѣкъ пришелъ въ міръ для безмѣрной свободы, творчества и счастья».

А. Купринъ.

ВЪ ЛЬВОВѢ.

I.

Итакъ, я во Львовѣ.

Давняя мечта стала дѣйствительностью. Послѣ долгихъ мытарствъ и непріятно неожиданныхъ осложненій я добрался, наконецъ, до столицы Галиціи.

Дѣйствительно, уже въ Петроградѣ мнѣ не выдали билета до Радзивиллова. Къ счастью, опасеніе не доѣхать даже до границы оказалось напраснымъ: до Радзивиллова пассажирское движеніе происходитъ безпрепятственно. Поѣзда идутъ страшно медленно, со скоростью не болѣе 20 верстъ въ часъ, съ продолжительными остановками.

Въ Радзивилловъ пріѣхали въ 1 часъ дня, а уѣхали дальше лишь въ семь часовъ вечера.

Въ Заболотцахъ пересаживаемся въ маленькіе австрійскіе вагоны. Путь до Заболотце отъ Радзивиллова сейчасъ небезопасенъ: мосты нѣкоторые были взорваны, вмѣсто нихъ сейчасъ временныя сооруженія.

Въ 10 часовъ вечера трогаемся въ путь. До Львова—верстъ семьдесятъ. Въ вагонѣ мѣста найти не могъ: въ нѣкоторыхъ вагонахъ уже стоять негдѣ было—до того было все переполнено офицерами и солдатами. Едва нашелъ мѣсто на закрытой площадкѣ вагона, гдѣ и расположился на своемъ чемоданѣ.

Къ пяти часамъ утра, наконецъ, подъѣхали ко Львову, простоявъ предварительно въ десяти минутахъ отъ города свыше часа.

На вокзалѣ не только не оказалось носильщиковъ, но—что еще хуже—извозчиковъ. Да, кромѣ того, какъ намъ сообщили, въ городъ до разсвѣта ѣхать не разрѣшалось. Пришлось подчиниться печальной неизбѣжности и остаться въ буфетѣ перваго класса вокзала.

II.

Не веселое впечатлѣніе производитъ нынѣ «гловни дворжецъ». Наши желѣзнодорожные служащіе не вполнѣ приспособились къ та-

кому обширному вокзалу, съ широко развитой сѣтью желѣзнодорожнаго узла, бродятъ въ этой громадѣ, какъ тѣни. Большинство помѣщеній вокзала отведено подъ ночлегъ войскамъ. Часть помѣщеній совсѣмъ закрыта. Комнаты перваго класса можно узнать, пожалуй, только по вывѣскѣ. На стульяхъ, диванахъ, вездѣ, гдѣ можно приткнуться, спятъ офицеры, штатскіе мужчины и женщины. Буфетъ перваго класса ничѣмъ не отличается отъ нашихъ буфетовъ небольшихъ станцій: ни горячаго, ни жаркого тамъ не найти; только одни буттерброды, чай и печенье. За буфетомъ стоитъ полька, изъ всѣхъ силъ стараясь быть любезной съ русскими. Въ качествѣ офиціантовъ какимъ-то образомъ уже успѣли оказаться пріѣзжіе изъ Россіи, изъ г. Николаева и еще откуда-то. Съ разсвѣтомъ пассажиры стали разъѣзжаться, но такъ какъ извозчики подъѣзжали медленно и по одиночкѣ, то изъ-за нихъ между пассажирами начались форменныя состязанія. Гоняясь за извозчиками, по крайней мѣрѣ, въ теченіе часа, я едва смогъ уѣхать въ семь часовъ утра.

III.

Безъ труда досталъ номеръ, приличный и недорогой, въ гостиницѣ «Бристоль» на главной улицѣ «Короля Людвига». Но насколько швейцаръ и прислужница (русинъ и полька) были любезны и привѣтливы, настолько же номеръ оказался холоднымъ. На мою просьбу протопить номеръ получилъ знаменательный отвѣтъ «нѣма джева», которыхъ трудно достать, ибо некому теперь «рабовать».

Дѣйствительно, мнѣ пришлось наблюдать необычныя картинки, какъ съ рынка по утрамъ кухарки, въ корзинкахъ для провизіи, несутъ по нѣсколько полѣньевъ дровъ.

Возблагодаривъ прекрасный обычай, распространенный здѣсь, спать на перинахъ и укрываться перинами, я легъ спать въ восемь часовъ утра, согрѣлся и проспалъ, какъ убитый, нѣсколько часовъ.

Затѣмъ первымъ дѣломъ направляюсь въ магазинъ пріобрѣсти планъ и виды города. Накупаю на нѣсколько рублей, но при расплатѣ возникаетъ неожиданное препятствіе. Мелкихъ денегъ у меня не было: отдаю самую мелкую—двадцатипятирублевку. Сдачи нѣтъ. Послали мальчика мѣнять; долго не возвращался, но, наконецъ, явился ни съ чѣмъ. Отправилась сама хозяйка, ей очень не хотѣлось упустить покупателя, но и она, спустя нѣкоторое время, также вернулась безъ результатовъ. Беру покупку и оставляю деньги для размѣна,— сдачу получилъ уже черезъ нѣсколько часовъ. Въ другомъ магазинѣ

мнѣ пришлось добирать товаромъ, дабы не дробить сдачу. Въ ресторанѣ я видѣлъ господина, который обращался ко всѣмъ съ просьбой размѣнять ему пять рублей. На улицѣ господинъ изъ магазина обратился ко мнѣ за размѣномъ какой-то бумажки, отъ чего я уклонился, вспомнивъ свои недавнія затрудненія.

Тѣ же затрудненія въ трамваяхъ, у газетчиковъ, въ театрахъ, въ почтамтѣ, словомъ, вездѣ ощущается острая нужда въ размѣнной монетѣ, которая въ дальнѣйшемъ еще болѣе будетъ усиливаться.

IV.

Здѣсь я не могу пройти молчаніемъ выпада мѣстной русской газеты «Прикарпатская Русь», переселившейся сюда изъ Кіева, по адресу еврейскаго населенія. Подробнѣй о роли этой газеты я поговорю послѣ. Въ номерѣ отъ 17 сентября въ ней,между прочимъ, было напечатано: «евреи напрягаютъ всѣ усилія къ тому, чтобы напакостить русскимъ, а главное поселить тревогу и сомнѣніе, евреи обезцѣниваютъ русскія деньги, пряча въ то же время мелочь; затѣмъ наживаютъ проценты при размѣнѣ крупныхъ денегъ».

Во Львовѣ ни одинъ банкъ сейчасъ не функціонируетъ, для созданія русскаго банка, кажется, время еще не наступило. Естественно, мелкая монета должна постоянно отливать изъ города. Кромѣ того, каждый обыватель, независимо отъ національности, стремится сохранить мелкую монету для собственнаго обихода. Во всѣхъ магазинахъ, польскихъ, еврейскихъ и русскихъ требуютъ расплаты мелкой монетой. Увы! даже въ конторѣ «Прикарпатской Руси» съ меня потребовали расплаты мелкой монетой, и послѣ того, какъ оказалось всей моей мелкой наличности недостаточно, мнѣ выдали сдачу съ рубля.

Призывы городского головы къ населенію не скрывать мелкую монету врядъ ли принесутъ существенную пользу. Жаль, что газета, вродѣ «Прикарпатской Руси», претендующая на офиціозность и присвоившая себѣ право говорить здѣсь отъ имени русскаго народа, натравливаетъ массы противъ еврейской національности.

Правда, на мѣстную публику она впечатлѣніе оказываетъ прямо противоположное, но читаютъ ее, главнымъ образомъ, солдаты.

V.

По внѣшнимъ впечатлѣніямъ нормальное теченіе городской жизни кажется ненарушеннымъ. Правда, бросается въ глаза почти полное

отсутствіе автомобилей, частныхъ грузовыхъ перевозокъ и малое число извозчиковъ. Здѣсь, конечно, сказалась дважды перенесенная населеніемъ автомобильная и конская военная повинность. Трамвайное движеніе происходитъ безъ остановки и правильно. Услугами трамваевъ, между прочимъ, широко пользуются наши солдаты. Безплатный проѣздъ имъ, однако, не предоставленъ. Одинъ солдатъ по этому поводу мнѣ объяснилъ, что такъ постановило наше военное начальство, чтобы не говорили, что наши войска наносятъ ущербъ городу.

Противъ такого довода нечего возразить, и рѣшеніе это можно лишь привѣтствовать. Дѣйствительно, наши солдаты, кажется, хорошо усвоили эту точку зрѣнія, аккуратно расплачиваясь и не дѣлая никакихъ, даже самыхъ невинныхъ, попытокъ проѣхать даромъ. Кондуктора чрезвычайно любезны и предупредительны къ нашимъ солдатамъ, спрашивая предварительно, куда ѣдутъ, и затѣмъ предупреждая, когда имъ выходить. Въ свою очередь и солдаты ведутъ себя корректно. При мнѣ солдатъ закурилъ въ вагонѣ, но послѣ замѣчанія кондуктора, безъ всякихъ возраженій, немедленно потушилъ папироску.

VI.

Поразила меня сначала нѣкоторая пустынность улицъ, очень многіе магазины были закрыты. Улицы производили впечатлѣніе петроградскихъ въ праздничное утро. Но потомъ это обстоятельство разъяснилось, была суббота, всѣ еврейскіе магазины бываютъ въ это время закрыты. Евреи, повидимому, играютъ значительную роль въ торговопромышленной и экономической жизни города.

Нельзя, однако, отрицать, что многіе магазины, и очень крупные, были закрыты передъ вступленіемъ русскихъ войскъ. Такъ, магазины двухъ большихъ пассажей почти всѣ закрыты, у многихъ даже вывѣски уничтожены и окна завѣшаны желѣзными шторами. Многіе магазины, несомнѣнно, ликвидируютъ сейчасъ торговлю, такъ какъ распродажныя цѣны въ нѣкоторыхъ магазинахъ черезчуръ низки. Слухи о томъ, будто бы еврейское населеніе покинуло городъ передъ вступленіемъ русскихъ войскъ, о чемъ я слышалъ въ Петроградѣ, неосновательны: покинули городъ люди исключительно богатые, безъ различія національностей.

Въ общемъ, по внѣшности, городъ живетъ своей обычной жизнью. Если бы не безпрестанные воинскіе обозы, вооруженные солдаты, постоянно передвигающіеся изъ одного мѣста въ другое, множество

офицеровъ, то война въ этомъ тихомъ культурномъ уголкѣ не была бы замѣтна.

Запрещеніе жителямъ появляться на улицахъ послѣ 9 часовъ усугубляетъ впечатлѣніе близости театра войны.

VII.

Въ прошломъ письмѣ я писалъ, что по внѣшности мирная жизнь города Львова ничѣмъ не нарушена и какъ будто протекаетъ вполнѣ нормально: безостановочное движеніе трамваевъ, даже безъ перевозки раненыхъ,невѣроятная толкотня на улицахъ,хотя, по утвержденію мѣстныхъ жителей, въ городѣ осталось менѣе половины населенія—многіе на войнѣ, другіе находятся въ бѣгахъ—мальчишки, съ азартомъ выкрикивающіе названія газетъ, съ одинаковымъ увлеченіемъ предлагая «Прикарпатскую Русь» и «Подольскій Край», «Слово Польское» и «Вѣкъ Нови» и др., задавшись единственной цѣлью заработать побольше геллеровъ. Вотъ—обычная картина, которая дополняется массой снующихъ русскихъ офицеровъ, солдатъ и лицъ съ краснымъ крестомъ обоего пола.

Но, присматриваясь къ публикѣ въ разные часы дня, вы замѣчаете, что толкотня на улицахъ не дѣловая, что среди нея нѣтъ людей, идущихъ на службу или торопящихся по какому-нибудь дѣлу, публика все—гуляющая, съ явными признаками разсѣянности на физіономіяхъ: останавливаются кучками, о чемъ-то поговорятъ, разойдутся, затѣмъ вновь собираются группами по какому-нибудь пустячному поводу и расходятся.

Подобное впечатлѣніе бездѣлья еще усиливается присутствіемъ на улицахъ множества учащихся всѣхъ возрастовъ и всѣхъ національностей, точно въ праздникъ. Среди учащейся молодежи—масса еврейскихъ дѣтей.

Одинъ мѣстный еврей мнѣ объяснилъ, что у нихъ полагается большой штрафъ для родителей, не отдавшихъ дѣтей въ школу къ девяти годамъ.

— Это только у евреевъ?

— Нѣтъ, законъ общій для всѣхъ національностей.

— А если кто-либо и послѣ штрафа не отдастъ дѣтей въ школу?

— Въ первый разъ штрафъ въ 500 кронъ, второй—въ 1000, а въ третій разъ тюрьма. У насъ штрафуютъ родителей даже за малоуспѣшность дѣтей.

Сейчасъ распоряженіемъ генералъ-губернатора занятія во всѣхъ

учебныхъ заведеніяхъ временно пріостановлены «впредь до распоряженія».

Побывалъ въ стѣнахъ стариннаго университета. Зданіе старое и ободранное снаружи и внутри. У входа стоитъ солдатъ. Деканъ философскаго факультета, проф. археологіи Гадачекъ, любезно показалъ мнѣ все зданіе. Какъ бы извиняясь за печальную внѣшность своей «Alma Mater», онъ сообщилъ, что рѣшено строить новое зданіе и что всѣ планы отосланы въ Вѣну на утвержденіе, но война ихъ задержала, а теперь, вѣроятно, послѣ войны они пойдутъ на утвержденіе другого правительства. По словамъ Гадачека, число слушателей до войны было около 5000 человѣкъ, а послѣ мобилизаціи осталось не болѣе 500.

Почти всѣ профессора львовскаго университета находятся во Львовѣ, лишь нѣкоторые пока не вернулись съ вакацій. Самъ проф. Гадачекъ по происхожденію чехо-русскій, типичный нѣмецкій ученый, внѣ своей спеціальности не видящій интереса, по его собственнымъ словамъ, политикой никогда не занимался и не интересовался, но зато съ увлеченіемъ разсказываетъ о своихъ изслѣдованіяхъ и раскопкахъ въ области древней южно-русской культуры доскифскаго періода.

Вся культурно-просвѣтительная работа сейчасъ, естественно, заглохла: одни работники ушли на войну, другіе просто потеряли почву подъ ногами.

Общественныя организаціи распоряженіемъ властей на время войны закрыты. Музеи и другія научныя учрежденія закрылись по собственной иниціативѣ. Также и театры. Прекрасный по архитектурѣ громадный городской театръ стоитъ неприступной крѣпостью, внутрь которой никакъ не пробраться, ибо не найти ни сторожей, ни администраціи.

Только костелы полны молящимися. Я говорю—костелы, потому что по внѣшней сторонѣ религіозной жизни Львова они, повидимому, играютъ первенствующую роль, оттѣсняя на второй планъ другую церковь, въ томъ числѣ и православную. Женщины съ дѣтьми, мужчины, дѣвушки безпрестанно входятъ и выходятъ изъ костеловъ, усердно молятся тамъ, сидя на скамьяхъ съ молитвенниками въ рукахъ или выстаивая на колѣняхъ передъ образами Мадонны и Пана Іезу. У нѣкоторыхъ на глазахъ слезы. Многія женщины въ глубокомъ траурѣ. О чемъ онѣ плачутъ? О чемъ просятъ у Неба? Богъ вѣсть...

Католицизмъ мѣстнаго населенія какъ-то особенно бросается въ глаза своими чисто внѣшними проявленіями, чего мнѣ не прихо-

дилось, напримѣръ, наблюдать въ католическихъ мѣстностяхъ: на воротахъ домовъ, въ окнахъ отдѣльныхъ квартиръ такъ часты, почти обычны, изображенія католическаго религіознаго культа. Но что особенно замѣчается—это полное отсутствіе уличной шумихи и суматохи въ костелахъ, какъ это приходилось наблюдать въ дрезденскихъ костелахъ, гдѣ за шумомъ зрителей не слышно богослуженія. Здѣсь же праздное любопытство туристовъ какъ будто вызываетъ скрытое раздраженіе у молящихся.

VIII.

Путевыя впечатлѣнія.

Многіе магазины совсѣмъ прекратили торговлю за неимѣніемъ товаровъ. Проѣзжающія иногда по городу фуры съ хлѣбомъ вызываютъ, нѣкоторымъ образомъ, сенсацію: прохожіе останавливаются, разспрашиваютъ, куда везутъ и кто счастливый обладатель самаго драгоцѣннаго груза. Воинскія же телѣги, нагруженныя прекраснымъ хлѣбомъ, вызываютъ особый соблазнъ. Мѣстный хлѣбъ не только по сравненію съ нашимъ, но и безотносительно очень плохъ (я говорю, конечно, о теперешнемъ времени).

— Изъ этого хлѣба у насъ арестанты лѣпятъ фигурки,—сказалъ русскій рабочій, прикомандированный изъ Россіи къ желѣзнодорожнымъ львовскимъ мастерскимъ, поѣдая хлѣбъ съ весьма неаппетитной на видъ колбасой.

Ѣхавшій вмѣстѣ съ нами на вагонной площадкѣ, жаловался, что не могъ купить на станціяхъ хлѣба, вспомнивъ при этомъ свою Малороссію и кіевское сало, которое тамъ стоитъ всего пятнадцать коп., а здѣсь и за сорокъ не найдешь.

— Вотъ эта колбаса самая здѣсь дешевая, 65 коп. заплатилъ за фунтъ, а у насъ самая дорогая,—добавилъ рабочій.

IX.

Въ львовскихъ мастерскихъ мѣстные рабочіе замѣнены русскими. Впрочемъ, не всѣ такъ тоскуютъ по родинѣ.

— А вотъ мой товарищъ изъ Россіи ужъ женится на здѣшней дѣвицѣ. Красивая и богатая.

Въ общемъ, населеніе если не голодаетъ, то живетъ сейчасъ немножко впроголодь. Ежедневно можно наблюдать такую картину.

Около пекарни стоитъ толпа, какъ въ былое время передъ нашими казенками. Публику внутрь не пускаютъ. Черезъ наружную желѣзную рѣшетку просовываютъ покупателю по хлѣбцу въ фунта двуполтора. Тутъ же за порядкомъ наблюдаетъ полицейскій. Та же картина около мясныхъ лавокъ, въ молочныхъ и др. Эти лавки закрываются часа черезъ два, чтобъ послѣ опять открыться на короткое время. Подвозъ продовольствія для населенія сейчасъ затруднителенъ.

Хотя вагоновъ австрійцами оставлено очень много, всѣ станціи заняты вагонами, ихъ, вѣроятно, не одна тысяча, но паровозовъ осталось не такъ много. Гужевая же перевозка изъ Проскурова и др. мѣстъ ложится тяжелымъ расходомъ на товаръ—отъ 5 до 6 рублей на пятипудовый куль.

Конечно, все это временныя затрудненія, неизбѣжныя въ военное время. Все это минетъ и скоро забудется. Важно, чтобы власть шла искренно навстрѣчу нуждамъ населенія, съ которымъ русскому народу придется отнынѣ дѣлить свою судьбу и жить вмѣстѣ.

X.

Старый Рынокъ находится въ той части города, которую 15 сентября постигъ погромъ и которая подверглась обстрѣлу. До сихъ поръ можно видѣть слѣды стрѣльбы на стѣнахъ и пронизанныя пулями окна.

Стрѣльбой былъ захваченъ довольно большой районъ. Человѣкъ сорокъ, главнымъ образомъ, евреевъ, было убито и ранено и столько же арестовано въ качествѣ заложниковъ, которые потомъ были освобождены въ виду выясненной слѣдствіемъ непричастности еврейскаго населенія къ стрѣльбѣ изъ домовъ.

Выстрѣлы изъ домовъ были, очевидно, провокаціонные.

Хороша улица Мицкевича: не въ примѣръ прочимъ она залита асфальтомъ и особенно благоустроена. Здѣсь находится австро-венгерскій банкъ, въ которомъ нынѣ помѣщается русское градоначальство. Недалеко находится галиційскій сеймъ, который теперь, естественно, не работаетъ, и который также не удалось осмотрѣть. Передъ сеймомъ городской садъ, въ которомъ возвышается памятникъ графу Голуховскому, австрійскому государственному дѣятелю прошлаго столѣтія, намѣстнику Галиціи, оказавшему въ свое время большія услуги колонизаціи Галиціи.

На окраинахъ города начинаются луга и лѣса. Тутъ же расположены австрійскія казармы, здѣсь же происходитъ учебная тренировка

нашихъ солдатъ. Здѣсь же толпятся мальчишки, а также и дѣвицы, мирно бесѣдующія съ нашими солдатами. Иногда мирная бесѣда смѣняется остротами и зубоскальствомъ и деревенскими любезностями. Вообще, въ отношеніяхъ мирнаго населенія и солдатъ установилось взаимное довѣріе. Разговорились съ солдатикомъ. Разспрашиваютъ о Россіи. Всѣ они очень интересуются дѣйствіями войскъ на прусской границѣ.

— Всѣ наши войска страсть злуютъ на то войско. Не можетъ прогнать нѣмцевъ, мы все впередъ, а они не двигаются,—сказалъ солдатикъ.

Онъ еще не зналъ о побѣдахъ при Августовѣ и Сувалкахъ.

Я ему сказалъ.

— Ну, слава Богу.

Такимъ образомъ, у нихъ больше нѣтъ причинъ быть недовольными.

— Какъ къ вамъ относится здѣшнее населеніе?

— Хорошо. Конечно, у кого есть родные на войнѣ, тѣ не могутъ насъ любить, все-таки мы ихнихъ убиваемъ. А у кого нѣтъ никого на войнѣ, тѣ совсѣмъ хорошо, но и тѣ злого ничего не дѣлаютъ.

Сначала насъ боялись: имъ австрійцы говорили, что мы грабимъ и убиваемъ, теперь увидѣли сами, что мы ничего худого не дѣлаемъ.

XI.

Встрѣчаю своего земляка-студента, работающаго въ качествѣ санитара въ одномъ изъ лазаретовъ.

— Мы исполняемъ въ отрядѣ обязанности нижнихъ чиновъ. Послали розыскать фуру для перевозки груза съ вокзала. Идемъ вмѣстѣ. Оказывается, нанять извозчика не такъ легко. Подходимъ къ одному, другому—никто не ѣдетъ. Какъ ни старается студентъ увѣрить, что ѣхать недалеко, отказываются, ссылаясь на усталость лошадей.

— Мы имѣемъ право брать извозчиковъ безъ ихъ согласія, но не хочется обижать ихъ. Они не вѣрятъ, что близко, думаютъ, что обманываю, лишь бы взять лошадь,—жалуется студентъ.

— Панъ пошлетъ въ.....? (это верстъ сорокъ отъ Львова). Моя лошадь не дойдетъ.

Наконецъ, послѣ многократныхъ попытокъ и обѣщаній «добже» заплатить нашли «пана» извозчика, согласившагося ѣхать. У всѣхъ

время строго размѣрено, каждая минута дорога, и мой знакомый помчался исполнять порученіе.

Часамъ къ двумъ-тремъ рестораны наполняются публикой, почти все офицеры, врачи, сестры милосердія. Входитъ и представитель провинціальной власти: исправникъ какого-то уѣзда. Бравый служака, грудь на выкатъ. Подсаживается къ знакомымъ чиновникамъ. Говоритъ громко, не стѣсняясь:

— Только что пріѣхалъ на четверкѣ изъ уѣзда. Хорошо прокатился.

Затѣмъ дѣлаетъ строгій выговоръ официанту за отсутствіе мяса въ супѣ. Слава Богу, хоть на второе мясо даютъ.

Въ ресторанѣ русскихъ отъ мѣстныхъ легко отличить: они официантовъ называютъ «человѣкъ ты», мѣстные жители обращаются къ нимъ «проше пане». Въ семь часовъ прекращается движеніе трамваевъ, къ восьми часамъ улицы пустѣютъ, наступаетъ время, когда на улицахъ никого не увидишь, кромѣ военныхъ или причастныхъ къ войнѣ.

Работаютъ только кинематографы да варьете до 10 час. вечера.

Членъ Гос. Думы **А. Русановъ.**

РОКОВОЙ НОЧЛЕГЪ

Разсказъ офицера.

Позади осталось пройденное поле...

Моросилъ мелкій холодный дождь, но и сквозь его сѣтку едва виднѣлись черныя колонны наступавшей пѣхоты...

Проходя по полю, приходилось много разъ обходить трупы, свалившіеся одинъ на другой, перебираться черезъ оставленные австрійцами окопы, заваленнные тѣлами убитыхъ и брошенными предметами аммуниціи и вооруженія...

Около лѣса даже виднѣлись австрійскія патронныя двуколки, брошенныя войсками въ ихъ поспѣшномъ отступленіи съ обрѣзанными постромками...

Лошадей не было... На нихъ, видимо, и ускакали обезумѣвшіе солдаты... и теперь это поле, гдѣ всего нѣсколько минутъ тому назадъ кишѣлъ бой, и надъ которымъ сплошной массой неслись пули и артиллерійскіе снаряды, теперь это поле вдругъ успокоилось и затихло, и по нему въ неудержимомъ стремленіи впередъ ползли черные живые змѣи пѣхотныхъ колоннъ.

Казаки донесли, что село оставлено австрійцами...—И вотъ, охраняемыя со всѣхъ сторонъ дозорами и разъѣздами, главныя силы двинулись черезъ поле къ оставленнымъ непріятелемъ позиціямъ.

Они уже успѣли разобраться въ стройныя роты и батальоны,—эти массы людей, только что сражавшихся и, казалось, истомленныхъ въ боѣ. Теперь двигались они уже рядами, во главѣ со своими офицерами къ едва виднѣвшимся сквозь паутину дождя и тумана строеніямъ далекой деревни.

Между тѣмъ, казачьи разъѣзды были уже тамъ: они скакали по улицамъ, настигая своими пиками отсталыхъ, поспѣшно отступавшихъ австрійцевъ. Поручикъ М. вошелъ въ село во главѣ своей роты однимъ изъ первыхъ... Онъ еще видѣлъ поспѣшно убѣгавшихъ, побросавшихъ оружіе, солдатъ; ихъ не ловили и вслѣдъ имъ не стрѣляли: это были уже не воины, это были обезумѣвшіе, безоружные люди,—осколки погибающей арміи!..

М. сильно усталъ за этотъ день, но усталость не сказывалась до самыхъ сумерекъ, пока ему приходилось бѣгать вмѣстѣ съ солдатами по болотистому полю, лежать цѣпью въ сырыхъ и холодныхъ окопахъ и ходить въ атаку въ самую гущу австрійскаго ружейнаго и пулеметнаго огня...

Но теперь, когда все это было уже въ прошломъ, когда замолкъ шумъ битвы, когда осталось позади поле съ австрійскими пулеметами и окопами, наполовину наполнившимися ледяной дождевой водой, поручикъ вдругъ почувствовалъ, какъ его оставляютъ силы, какъ слабѣютъ ноги и какъ смыкаются глаза послѣ двухъ безсонныхъ ночей.

И страстно захотѣлось отдохнуть, протянуться, хоть не на кровати, нѣтъ!.. просто на полу, на доскахъ, даже на землѣ, только бы сверху не лилъ дождь и можно было-бы на минуту отхдохнуть отъ утомившаго слухъ гула и грохота...

Передъ нимъ была улица. Уже смеркалось, и синія тѣни ползли отъ домовъ черезъ широкую дорогу, изрытую тысячами ногъ и развороченную тяжелыми колесами артиллеріи.

И теперь по этой улицѣ шли только солдаты, жителей не было видно,—они или попрятались или уже покинули село съ первымъ появленіемъ непріятеля. Дома были цѣлы, но частью разгромлены австрійцами...

Виднѣлись двери, сорванныя съ петель, окна съ выбитыми ставнями, на улицу были выброшены разбитые сундуки и ящики, а у дверей ограбленной лавочки лежалъ, среди грудъ выброшеннаго на улицу товара, лицомъ внизъ, должно быть убитый, лавочникъ.

Съ одного конца село загорѣлось, вѣроятно, отъ одного изъ выпущенныхъ нами снарядовъ, послѣ мѣткихъ попаданій которыхъ австрійцы начали поспѣшно отступать...

Черный дымъ поднимался столбомъ надъ пылавшими избами и видно было издалека, какъ золотые языки пламени лизали мокрыя бревенчатыя стѣны и разсыпались искрами по набухшимъ отъ дождя, соломеннымъ крышамъ.

Тушить было некому: австрійцы бѣжали, а наши войска еще не успѣли расположиться въ занятомъ селеніи.

Когда поручикъ М. вышелъ со своей ротой на центральную площадь мѣстечка, гдѣ высился костелъ, упиравшійся колокольней въ мутное, плачущее небо, онъ увидѣлъ множество солдатъ, уже составившихъ винтовки и осматривавшихъ ближайшіе дома.

Ротѣ здѣсь было приказано расположиться на ночлегъ, свѣжія

части, подошедшія сзади, прошли теперь впередъ и образовали сторожевое охраненіе. Во множествѣ темныхъ избъ и сараевъ теперь можно бы найти хоть на нѣсколько часовъ тотъ отдыхъ, въ которомъ такъ нуждались завоеватели...

Поручикъ М. былъ легко раненъ въ руку. Ее перевязали ему тамъ же на позиціи, и онъ возвратился въ строй. Рука не болѣла весь день, но теперь, когда вся одежда промокла, когда холодъ пробиралъ до костей, М. почувствовалъ тупую ноющую боль въ ранѣ...

Надо было искать себѣ убѣжище!

Навстрѣчу поручику въ этомъ отношеніи пошелъ фельдфебель, рыжеусый, бравый подпрапорщикъ, уже дважды раненый, но оставшійся въ строю.

— Такъ что, ваше благородіе, можно было бы у ихняго попа на ночевку устроиться... Такъ что у него почище будетъ... можетъ быть, что-нибудь и закусить достанемъ...

Поручику было все равно...Онъ жаждалъ только отдыха и тепла...

— Идемте,—покорно отвѣтилъ онъ фельдфебелю и послѣдовалъ за нимъ черезъ грязную площадь къ костелу, около котораго виднѣлся бѣлый домикъ ксендза...

Миновавъ палисадникъ и поднявшись по ступенямъ подъѣзда, оба измученные человѣка долго возились у дверей... Ксендза, конечно, не было!

Фельдфебель попробовалъ подергать за ручку, но дверь оказалась закрытой на ключъ.

Дѣлать было нечего: оба опустились на ступени крыльца и нѣсколько минутъ просидѣли такъ недвижные и безмолвные, сломленные усталостью пережитаго дня.

Подпрапорщикъ опять первый нарушилъ молчаніе.

— Идемте, ваше благородіе, тутъ рядомъ домъ есть... Мы въ немъ и заночуемъ... Оно, конечно, не такъ чисто будетъ, какъ у попа, да что же подѣлаешь нынче...

Поручикъ съ трудомъ поднялся со ступени и опять пошелъ вмѣстѣ съ фельдфебелемъ по липкой вязкой грязи къ невзрачному черному домику, пріютившемуся около костела.

Домъ казался покинутымъ: людей не было видно, ставни были закрыты, но дверь, распахнутая настежь, свидѣтельствовала о томъ, что здѣсь побывали австрійцы...

Впрочемъ,комнаты они разгромить не успѣли: когда поручикъ М. и его спутникъ вошли внутрь дома, они нашли тамъ все въ должномъ порядкѣ...

Даже постель была не смята, и только наполовину опустошена, видимо, поспѣшными руками, миска холоднаго картофеля на столѣ.

— Здѣсь и расположимся, ваше благородіе,—довольнымъ тономъ предложилъ фельдфебель...—опять же и постель въ порядкѣ...

Поручику было все равно...

Онъ почувствовалъ себя въ теплѣ, увидѣлъ возможность лечь, протянуться и теперь единственнымъ желаньемъ, единственной цѣлью было дорваться до этого покоя и тепла...

— Хорошо!—произнесъ онъ,—я буду ночевать тутъ...Оставайтесь при ротѣ, только помогите мнѣ сейчасъ стащить сапоги...

Поручикъ сѣлъ, и фельдфебель приготовился уже помочь ему, какъ оба, взглянувъ на дверь, остановились и словно застыли отъ неожиданности...

Въ дверяхъ, прислонившись къ косяку, стояла женщина,молодая, съ прекраснымъ утомленнымъ и блѣднымъ лицомъ, такимъ изумительно строгимъ и необъяснимо привлекательнымъ, какого М. еще никогда не видѣлъ...

Она была еврейка, это было видно по ея типу и по типу ребенка, котораго она держала за руку и который боязливо жался къ ея юбкѣ...

Женщина молчала и только полными грусти и мольбы глазами глядѣла на русскаго офицера...

— Кто вы? Что вамъ надо?..—спросилъ пораженный поручикъ, подходя къ ней...

Женщина все молчала, а ребенокъ вдругъ заплакалъ, завсхлипывалъ робко и боязливо...

— Мы озябли... панъ офицеръ... мы очень проголодались,—наконецъ, заговорила еврейка...—мы хотѣли просить, если панъ-офицеръ позволитъ, мнѣ съ маленькими переночевать въ сараѣ рядомъ... я буду молиться Богу, чтобы онъ сохранилъ пана офицера...

М. глядѣлъ въ эти громадные прекрасные глаза, наполнившіеся слезами, и чувствовалъ, что забылъ все и усталость и мечты объ отдыхѣ...

— Конечно, конечно....—поспѣшно заговорилъ онъ, даже почему-то краснѣя,—но кто вы?... откуда вы?...

— Мы отсюда... это нашъ домъ, если панъ-офицеръ позволитъ...—

Еврейка обвела взглядомъ комнату...

— Мы весь день, какъ пришли австріяки, прятались въ саду въ землянкѣ... но пошелъ дождь... стало холодно, мой маленькій озябъ и плачетъ... панъ-офицеръ проститъ... вѣдь маленькія дѣти..

Еврейка словно извинялась...

Пораженный красотой этой женщины, взволнованный внезапностью ея появленія, поручикъ вдругъ почувствовалъ себя какимъ-то маленькимъ передъ ней, передъ ея красотой, какимъ-то виноватымъ и обязаннымъ ей...

— Нѣтъ, нѣтъ... ради Бога... Вы будете ночевать здѣсь... Мы пойдемъ въ сарай...—поспѣшно заговорилъ онъ, натягивая сапогъ.

— О, нѣтъ... панъ офицеръ, развѣ это возможно, панъ офицеръ долженъ спать на перинѣ...

— Ради Бога, ради Бога... Ну, я прошу васъ...

Поручику М. стало искренно жаль и молодую женщину, и ея несчастнаго ребенка.

— Какъ!—воскликнула, между тѣмъ, та, увидѣвъ его руку забинтованной.—Панъ офицеръ раненъ?...

И быстро, легко и осторожно прикасаясь къ рукѣ М., она, не спрашивая его согласія, развязала бинтъ, достала откуда-то кусокъ ваты и сдѣлала перевязку...

— Вы останетесь здѣсь... панъ офицеръ... Вы будете спать здѣсь... Я сама сдѣлаю вамъ постель, а мы съ маленькимъ пойдемъ въ сарай... Онъ здѣсь, рядомъ... Тамъ много сѣна, будетъ тепло... Пусть панъ офицеръ ложится здѣсь...

Сколько ни убѣждалъ ее поручикъ, сколько ни просилъ, молодая еврейка оставалась непреклонной,—отъ ея застѣнчивости не осталось и слѣда...

Поручикъ остался спать внутри избы, а молодая женщина съ мальчикомъ ушли въ сарай, расположенный стѣна къ стѣнѣ съ домомъ...

Лежа въ постели послѣ ужасовъ и усталости дня, не чувствуя успокоившейся раны, поручикъ до послѣдней минуты сознанія думалъ о прелестной еврейкѣ и о ея незабвенныхъ огромныхъ и глубокихъ какъ океанъ глазахъ...

Утромъ М. проснулся отъ внезапнаго страшнаго грохота...

Точно мгновенно обрушился потолокъ и задрожала земля.

Поручикъ сразу не понялъ ничего... Онъ сѣлъ на постели и увидѣлъ только снопъ пламени и густой дымъ, валившій въ окно...

Подпрапорщикъ кричалъ ему въ дверь:

— Ваше б-діе, выходите! Горимъ!.. Скорѣе...

Онъ выбѣжалъ на улицу и увидѣлъ на мѣстѣ сарая, расположеннаго рядомъ съ домомъ, одинъ сплошной костеръ.

Бризантный снарядъ, выпущенный австрійцами съ вновь занятой за ночь позиціи, попалъ прямо въ сарай, спалилъ его и превратилъ въ груду костей и обрывковъ мяса прекрасную еврейку и ея ребенка.

Эту исторію мнѣ разсказалъ поручикъ М. уже въ госпиталѣ, гдѣ онъ лѣчился отъ осложнившейся раны въ руку...

Вадимъ Бѣловъ.

ИВАНЪ ВЪ РАЮ.

Кабы не война съ нѣмцами,—не пришлось бы идти въ солдаты Ивану: счастливый жребій выкинулъ, въ ратники зачислили. Только въ прошломъ году женился. Хорошую работящую дѣвку въ домъ взяли. Не такъ, чтобы въ полномъ довольствѣ жили,—неурожаи одолѣли, пришло такъ, что и самоваръ продали,—а все-таки дома лучше. Главное—дѣвку по сердцу взялъ. Не приневоливали: «сами слюбились». Ну, а съ милой, какъ говорится въ пословицѣ, въ шалашѣ—рай! Поцѣлуешься и сытъ! Лучше чаю съ сахаромъ. Однако, гдѣ тонко, тамъ и рвется: нынче лѣтомъ, во время жнитва, деревня, почитай, до чиста сгорѣла. Хоть по міру иди! Жили въ банѣ, на рѣчкѣ; семья большая, изозлились всѣ, измучались, обижать другъ дружку начали, хлѣбомъ корить. Дуня кажній вечеръ на рѣчкѣ подъ ветлой плакала. Надо было чего-нибудь выдумать. Посидѣли вмѣстѣ рядышкомъ на огородѣ, а на другой день чуть свѣтъ помолились, котомки на спину взяли, подожки въ руки и отцу съ матерью:

— Счастливо вамъ оставаться, батюшка съ матушкой! Спасибо за хлѣбъ, за соль!

— Куда вы?

— Въ городъ. Счастье свое искать.

Много тамъ этакихъ оказалось дураковъ-то изъ лѣсу. Чуть съ голоду не подохли.

Не знай, что бы и было, кабы не случай. Стояли на базарѣ да глядѣли, какъ люди говядину покупаютъ. А барыня куль всякаго добра накупила, а поднять не можетъ.

— Донеси,—говоритъ,—до дому, на чай получишь!

Ну, и пошли всѣ втроемъ. А дорогой разговоръ барыня завела:

— Что, говоритъ, на мѣсто не поступаешь? Лѣнтяи, говоритъ, вы и больше ничего.

А Иванъ ей—такъ и такъ, и рады бы да некуда. Изъ-за хлѣба бы одного согласились. А у барыни домъ свой, квартиранты есть,—вотъ она и опредѣлила Ивана въ дворники, а Дуню въ прачки. Слава Тебѣ,

Господи, хоть съ голоду не помрутъ. Какъ никакъ, а сыты и пристанище есть. Только опредѣлились, а тутъ война съ нѣмцами.

Объявили, что всѣмъ надо итти, и ратникамъ. Дуня при мѣстѣ осталась, а Иванъ попрощался съ молодухой, оба маленько поплакали, да обратно, въ свой уѣздъ, въ присутствіе. Поучили Ивана солдатскимъ наукамъ, и опомниться не успѣлъ, какъ въ чужой дальней сторонушкѣ очутился. Словно на коврѣ-самолетѣ перелетѣлъ. Думалъ,—далеко еще до нѣмца и не скоро сражаться придется, а слѣзли съ чугунки, прошли верстъ тридцать скорымъ шагомъ и громъ услыхали. Что такое? Неужто изъ пушекъ палятъ? Упало сердце, дрожь по спинѣ пробѣжала, Дуня, какъ живая, въ памяти встала... Такъ съ этого дня и пошло. На ночь окопались и до темноты слушали, какъ и впереди и позади пушки громыхали и надъ головой шрапнели летали, и пули свистѣли. А чуть свѣтъ въ атаку пошли и боевое крещеніе приняли. Иванъ думалъ, что всѣмъ смерть пришла, а послѣ атаки оказалось, что не одинъ онъ живъ остался, а всего изъ роты сорокъ три человѣка выбыло. Посмѣлѣй сталъ. А потомъ такъ привыкъ, что ругаться началъ, когда шрапнель близко разорвется и пулями завоетъ. Тяжело было. Каждый день бои пошли, вздохнуть некогда: либо идешь впередъ, либо въ бою. Обозъ за полкомъ не поспѣвалъ, по трое сутокъ, кромѣ сухаря, во рту ничего не было. Стемнѣетъ, оборвется бой, притихнетъ стрѣльба, — надо раненыхъ подобрать, мертвыхъ зарыть, окопы поглубже вырыть, себя маленько въ порядокъ привести. Совсѣмъ, почитай двѣ недѣли не спали. Ужъ какой тутъ сонъ? Кончится работа поздно, спрыгнешь въ свою канаву, ткнешься головой въ землю, закроешь глаза и, какъ птица на вѣточкѣ, дремлешь. Только забываться начнешь, стукнетъ кто-нибудь изъ товарищей ружьемъ или вздохнетъ, сейчасъ же опомнишься и за ружье схватишься. Такъ однимъ глазкомъ спишь, а настоящаго сна нѣтъ. Часа три-четыре поклюешь этакъ носомъ, и опять начинается. Чуть-чуть святокъ, зорька пугливая появится, и опять пули посвистывать начинаютъ. Пора, значитъ, на работу! Глядишь, и отъ насъ полетѣли... А тамъ пушка загремитъ, другая, третья... И опять, какъ въ аду!..

Далеко ушли, все врага гнали. Измотались вотъ какъ: упадешь и заснешь! Проспишь часа три, въ себя придешь и валяй скорымъ шагомъ своихъ догонять. Когда ранили Ивана, упалъ онъ и подумалъ: «ну, слава Тебѣ, Господи, донесъ свой крестъ до могилы». И больше ничего не помнитъ. А оно вышло не такъ: Господь еще пострадать велѣлъ: какъ пришелъ въ себя, такъ сразу и понялъ, что живъ, а только

лучше, если бы померъ: лежитъ въ сараѣ на соломѣ, а на волѣ непонятное бормочутъ нѣмцы на своемъ языкѣ.

«Значитъ, конецъ,—подумалъ Иванъ.—Прощай, мать-Рассеюшка, прощай, милая Дунюшка, прощай, батюшка съ матушкой и весь вольный свѣтъ!» Слышалъ Иванъ, что нѣмцы нашихъ плѣнныхъ мучаютъ и приканчиваютъ, и готовился мученическую кончину принять...

Двое сутокъ лежалъ, все ждалъ смерти. А она не приходила. Пить—ѣсть не давали, дѣйствительно, а не трогали. А потомъ, на третьи сутки, тихо вдругъ стало. Далеко гдѣ-то бой шелъ, а кругомъ словно всѣ померли. Одинъ въ сараѣ на соломѣ лежалъ и отъ голоду въ головѣ мутилось, и губы высохли, запеклись. Хотѣлось до двери доползти, не вышло: нога такъ и заныла, что отъ боли, какъ ребеночекъ, заплакалъ. Можетъ, и померъ бы съ голоду или отъ раны, если бы не случай. Собаченка подъ двери сарая залѣзла, увидала Ивана и давай лаять. А потомъ человѣческій голосъ услыхалъ: плачетъ женщина на дворѣ. Она, эта женщина, Ивана и обнаружила. Сперва-то оба они другъ дружку испугались, а потомъ ничего. Думалъ Иванъ, что она вилами хочетъ прикончить его, стало быть, а она принесла новаго сѣна, сдѣлала помягче и помогла доползти на новое мѣсто. Напоила, потомъ кусочекъ хлѣба принесла и понимать другъ дружку стали. Говоритъ женщина, хотя и не по-нашему, а все-таки понять можно. Черезъ три дня послѣ этого наши солдатики мимо шли, женщина ихъ въ сарай привела. А Иванъ въ жару горѣлъ, какъ въ огнѣ. Вытащили его изъ сарая на солнышко, и опять ничего не помнитъ, какъ было дальше... Помнитъ только, что словно все летѣлъ куда-то, словно птица на крыльяхъ. И сколько времени летѣлъ, не знаетъ. Будто очень долго... А это ужъ болѣзнь началась: тифомъ захворалъ...

Все чудилось, что въ рай попалъ, и кругомъ будто апостолы въ бѣлыхъ одѣяніяхъ, и Матушка-Заступница, и святые мученики и мученицы въ бѣлоснѣжныхъ ризахъ, и будто разговоръ идетъ объ Иванѣ, сколько грѣховъ и добрыхъ дѣлъ за нимъ числится.

Когда болѣзнь силу потеряла, рай больницей оказался! Глядитъ и глазамъ не вѣритъ: горница барская, постель барская, одѣяло барское, бѣлье чище снѣга, свѣтло и чистота такая, словно все новое. И сидитъ у его постели женщина въ бѣломъ платьѣ и въ бѣломъ платочкѣ, ласково улыбается всей красотой своей и говоритъ:

— Думали, ногу придется отнять, а, слава Богу, обошлось безъ этого!

Тутъ только Иванъ вспомнилъ, что ему пережить пришлось; все вспомнилъ до послѣдняго пустяка, даже собачку, какъ живую, передъ

глазами увидалъ, что въ сараѣ на него лаяла, и такъ вдругъ ему радостно стало на душѣ, что все это прошло и что живъ онъ остался,— что сталъ смѣяться отъ радости, плакать и смѣяться... А кругомъ не понимаютъ, въ чемъ дѣло, почему плачетъ и смѣется.

— Не въ себѣ онъ!—говоритъ кто-то на сосѣдней койкѣ.

— Въ родѣ, какъ бы тронулся разумомъ-то...

Хотѣлъ Иванъ сказать имъ про ошибку, да наплевать, говорить неохота. Все бы хорошо, да ѣсть мало даютъ.

— А ты, сестрица, каши бы съ саломъ, али щецъ солдатскихъ!

— Нельзя еще. Вотъ что будетъ черезъ недѣльку...

Молокомъ поили, яичко въ смятку давали, сухарикъ бѣлый. Развѣ отъ этого сытъ будешь? Цѣлую недѣлю лежалъ и все ждалъ: только о кашѣ, да о щахъ и думалъ, да еще о Дунюшкѣ. Вмѣсто недѣли двѣ прождалъ, а потомъ въ другую горницу перевели, гдѣ съ легкими ранами были, выздоравливающіе. Вотъ тутъ ужъ и начался настоящій рай. Кормить стали не хуже господскаго, работы никакой: либо полеживаешь и картинки смотришь, либо, какъ баринъ, въ халатѣ погуливаешь, а кисточки болтаются. На ногахъ—туфли мягкіе, ходишь словно по лугу. Два раза въ недѣлю въ купель сажаютъ,—тѣло бѣлое стало, словно дышетъ все. Обхожденіе ласковое. Чай тебѣ на подносѣ подаютъ съ молокомъ или съ лимономъ сестрицы, голубки бѣлыя, одна другой красивѣе и все о здоровьи справляются:

— Какъ ваше здоровье?

— Покорно благодаримъ. Какъ вы поживаете?

— Какъ нога ваша?

— Ничего. Тоже оправилась, свое дѣло хочетъ исполнять!

Кажній день докторъ осматриваетъ, очень безпокоится о ногѣ Ивана. Словно родственникъ. А по воскресеньямъ и четвергамъ— гостей видимо-невидимо. Все господа больше. Барыни и барышни. Есть которые на автомобиляхъ пріѣзжаютъ. За ручку когда здороваются и угощаютъ: и яблочками, и папиросами, и пряниками, газеты читаютъ и все разспрашиваютъ, какъ было. Жалостливыя очень. Одна, очень даже видная изъ себя, послушала разсказъ, какъ Иванъ смерти ждалъ своей, отерла слезу платочкомъ и цвѣточковъ ему на столикъ положила! У меня, говоритъ, мужъ на войнѣ. Какая жизнь! Помирать не надо. Словно бариномъ сдѣлался! Всѣ тебѣ услужить желаютъ и всѣ о тебѣ безпокоятся. Кабы поглядѣла Дунюшка! Вчерась господа пріѣхали съ музыкой. Играли и пѣли, а они слушали. Словно въ раю ангелы поютъ!—Ей Богу! А какъ на балалайкахъ заиграли, такъ сидѣть невозможно: кабы не нога больная, такъ бы сорвался и пошелъ

ногами раздѣлывать! Говорятъ, кажній праздникъ эти забавы будутъ для нихъ... Вотъ кабы Дунюшка послушала! Далеко она отсель. Писалъ ей, да отвѣту нѣтъ. Можетъ, прогнали съ мѣста и опять въ деревню ушла. Вспомнитъ и соскучится въ раю своемъ. Хоть бы однимъ глазкомъ Дунюшку увидать да ласковымъ взглядомъ обмѣняться! Въ тягостяхъ, вѣдь, она осталась, Дунюшка-то. Къ Рождеству родить должна...

— Что, Иванъ Егорычъ, призадумались?

— А такъ... разное въ голову лѣзетъ. Письмецо бы надо супругѣ написать, а только неизвѣстно, гдѣ онѣ находятся... супруга наша.

— Я вамъ могу письмо написать. Вечеркомъ, когда съ дежурства освобожусь!

— Постарайтесь, сестрица милосердная!

Исполнила обѣщаніе: вечеромъ съ чернильницей и съ бумагой къ столику подсѣла.

— Ну, говорите, что писать!

— Любезной супругѣ нашей Авдотьѣ Миколавнѣ шлю поклонъ въ первыхъ строкахъ и цѣлую безсчетное число разъ въ уста сахарныя. По милости Господа живъ и здоровъ, въ лазаретѣ нахожусь съ пулей въ ногѣ, а только прошу не безпокоиться, нога при мнѣ останется, а докторъ ее вытащитъ благополучно, такъ что полное дѣйствіе будетъ и тогда вернусь къ вамъ, любезная супруга наша Авдотья Миколавна. А только неизвѣстно, гдѣ васъ искать. Живу я такъ, какъ словно изъ мужиковъ въ господа переписался, халатъ на мнѣ и тухли и никакой работы не имѣю, окромя, какъ пить, ѣсть, въ купели плавать, спать и разныя забавы господскія слушать. Полагаю такъ, что въ раю не лучше, а, между прочимъ, однимъ недоволенъ, что нѣтъ въ раю этомъ супруги нашей, любезной Авдотьи Миколавны, которая при томъ же находится въ тягостяхъ. Немедленно имѣю честь просить отвѣтить письменно о вашемъ здравіи и благополучіи, о коемъ денно и нощно молю Бога о васъ, любезная супруга наша Авдотья Миколавна, а пока остаюсь въ надеждѣ на скорое свиданіе законный супругъ вашъ взводный 12 роты Иванъ Егоровъ.

Евгеній Чириковъ.

ДЫХАНІЕ ВОЙНЫ.

I.

... Тамъ, на мѣстѣ—дыханіе смерти, не то незримое и молчаливо-равнодушное дыханіе, которое сковываетъ жизнь въ цѣпкихъ объятіяхъ на постели больного въ исполненной печальной заботы обстановкѣ больницы или родного дома.

Тамъ, на войнѣ, смерть не приходитъ молча. Она потрясаетъ воздухъ ревомъ смертоносныхъ орудій. Изъ сотенъ грудей, идущихъ ей навстрѣчу, она исторгаетъ крикъ угрозы, посылаемой врагу, или крикъ отчаянія, встрѣчающій побѣждающую силу. На войнѣ смерть перестаетъ быть незримой. Ея неслышнаго для насъ прихода тамъ ожидаютъ отъ каждаго движенія вражеской руки, отъ свиста пролетающей пули, отъ разрывающейся въ воздухѣ гранаты.

Но дыханіе войны чувствуется не только на войнѣ. Мѣрно громыхающій колесами поѣздъ уносилъ насъ оттуда, гдѣ слышенъ гулъ орудійной пальбы. Поѣздъ мчится дальше и дальше, и его встрѣчаютъ города и села, гдѣ течетъ мирная жизнь, не потрясенная ужасомъ кровавыхъ столкновеній. Но дыханіе войны чувствуется и здѣсь, въ отдаленныхъ отъ театра военныхъ дѣйствій мѣстностяхъ, граничащихъ съ той чертой, которая отдѣляетъ тылъ арміи отъ арены боевой ея дѣятельности.

И странное дѣло... Уже не ужасомъ, не улыбкой смерти вѣетъ это дыханіе.

Другія чувства, трогающія и волнующія, выковываютъ въ насъ новое и неожиданное настроеніе. Иначе смотришь на явленія, которыя привыкъ мѣрить привычной мѣркой, сложившейся въ теченіе ряда лѣтъ сознательной жизни. Учишься видѣть въ людяхъ то, что было скрыто въ нихъ доселѣ какой-то непроницаемой пеленой. Обвѣянные дыханіемъ войны эти люди, эти явленія изъ маленькихъ и привычныхъ вырастаютъ передъ нами въ нѣчто большое и неожиданное...

II.

Мнѣ припоминается разсказъ скромнаго армейскаго офицера, вернувшагося съ отличіемъ съ русско-японской войны.

Въ интимномъ кругу родныхъ, друзей далекаго дѣтства офицеръ хотѣлъ было разсказать одинъ эпизодъ боя подъ какой-то сопкой съ затѣйливымъ китайскимъ названіемъ.

Началъ разсказывать съ воодушевленіемъ. Но дошелъ до середины разсказа, дѣйствительно страшнаго по описанію той груды тѣлъ, своихъ и японскихъ, спотыкаясь о которую этому незамѣтному и даже въ физическомъ отношеніи маленькому человѣку приходилось вести въ атаку свою роту, дошелъ до этого мѣста, посмотрѣлъ на насъ и, потупившись, тихо сказалъ:

— Вы меня извините. Но, быть можетъ, можно не разсказывать?

И, вотъ, другой случай, разсказъ на приблизительно такую же тему объ отступленіи отъ Сольдау вольноопредѣляющагося изъ добровольцевъ, служащаго одной изъ петроградскихъ канцелярій.

— Тяжелая вещь—война,—съ бодрой улыбкой, не совсѣмъ идущей къ темѣ разговора, говорилъ мой собесѣдникъ.—Тяжелая вещь. Но, знаете, при самыхъ тяжелыхъ условіяхъ война все же вызываетъ неимовѣрныя сладостныя ощущенія.

Вы не охотникъ? Тогда вамъ это будетъ труднѣе понять. Но, видите ли, въ охотѣ прельщаетъ ощущеніе нервнаго, напряженнаго ожиданія. Когда выстрѣлишь, убьешь птицу,—наслажденія нѣтъ. Даже жалко ни въ чемъ неповинное крылатое существо. На войнѣ точно также убивать сознательно, думая объ этомъ, тяжело и непріятно. Но наслажденіе отъ жизни на войнѣ испытываешь потому, что всегда, въ любой моментъ, натянутые нервы ждутъ опасности.

Всегда насторожѣ, всегда и всѣмъ своимъ организмомъ напрягаешься въ сторону огражденія себя самого и дѣла, которому служишь, отъ все время тебя подстрекающей атаки или обстрѣла...

Этотъ разговоръ велся въ купэ, при открытой двери въ коридоръ. Прямо противъ нашей двери сидѣлъ на откидной скамеечкѣ гусарскій полковникъ съ разбитымъ локтемъ подвѣшенной на перевязи руки и спокойно объяснялъ своему собесѣднику.

III.

— Въ атакѣ конницы побѣждаетъ та сторона, которая сильнѣе морально. Я, напримѣръ, сперва никакъ не могъ понять, почему хва-

леная германская конница не принимаетъ нашей атаки. Лошади у нихъ прекрасныя, солдаты великолѣпной выучки и дисциплинированы, увѣренности въ себѣ у нѣмцевъ хоть отбавляй. При этомъ, нужно вамъ сказать, что, когда мы идемъ въ пики, то, вопреки общераспространенному мнѣнію, грудью сшибаться не приходится. Встрѣча двухъ эскадроновъ на такомъ близкомъ разстояніи невозможна. Лошади испугаются лѣса пикъ и повернутъ обратно. Поэтому-то участь схватки рѣшаетъ, въ сущности говоря, одинъ психологическій моментъ, вѣрнѣе секунда мимолетнаго остраго ощущенія живой опасности. Люди мчатся другъ на друга съ сомкнутыми пиками,—и одна сторона въ извѣстный моментъ дрогнетъ-таки, не приметъ атаки, разстроитъ свои ряды отставшими или свернувшими въ сторону. Эта сторона и бываетъ побѣждена.

— И что же, уступаютъ германцы?

— Да, уступаютъ германцы. А почему? Потому что, хоть не въ натурѣ славянина колоть пикой (онъ больше норовитъ шашкой работать: запасные наши, неважно владѣя пикой, предпочитаютъ даже раздроблять ею черепа на-отмашь), но нашъ солдатъ—это солдатъ удивительной, прямо-таки желѣзной стойкости. Простой мужикъ, сѣрый, необразованный, а, если онъ понимаетъ, что такъ нужно, онъ это сдѣлаетъ, совершенно забывая о личной опасности.

И, немного помолчавъ, молодой полковникъ, по виду изнѣженный баринъ, хотя и съ чертами стальной рѣшимости на загрубѣвшемъ отъ загара лицѣ, задумчиво прибавилъ:

— Они удивительные, эти русскіе солдаты. Ни одинъ солдатъ въ мірѣ не можетъ въ походѣ такъ долго не ѣсть и не спать, такъ безропотно и даже весело мерзнуть подъ дождемъ и въ окопахъ... Въ этомъ тоже ихъ непобѣдимая сила!

IV.

Поѣздъ подходитъ къ станціи. Почти одновременно съ нами на второй путь подошелъ встрѣчный поѣздъ съ эшелономъ. Съ манерками въ рукахъ, перепрыгивая по буферамъ нашего поѣзда, солдатики бросились за кипяткомъ. А на платформѣ станціи, принимающей на себя вѣтку желѣзной дороги къ мѣсту недавнихъ боевъ, стояли офицеры и солдаты, пріѣхавшіе прямо съ позицій. Объ этомъ мы узнали отъ нихъ самихъ позднѣе. Но это было замѣтно и по ихъ виду: мятыя рваныя рубашки съ темными пятнами высохшей крови, кой у кого германскія сѣрыя шинели на плечахъ.

Около будки съ кипяткомъ тотчасъ же установилась очередь,

какъ у театральной кассы. Какой-то курносый солдатикъ взялъ на себя роль распорядителя, сталъ у крана и началъ контролировать чающихъ горячей воды зазябнувшихъ въ «теплушкѣ» товарищей, сурово отгоняя тѣхъ, кто подходилъ не съ манеркой, а съ ведромъ.

Ждущіе очереди завязали оживленную бесѣдку съ «земляками», пріѣхавшими съ мѣстъ боя. Словоохотливый рослый солдатъ въ германской шинели началъ повѣствованіе.

— Бой начался съ темнаго утра и кончился темною ночью. Ужасть, какъ страшно было. Артиллерія у нихъ грознѣй нашей, но, слава Богу, не такая, какъ у насъ, мѣткая. У нихъ снарядъ большой, цѣлую яму выкопаетъ и народу, коли попадаетъ, губитъ много. Страшно было. Однако, мы—ничего, хоть и обробѣли, штыками его начали жать, потому, видимъ, иначе пропадать надо!

— И прогнали!?

— Конечно, прогнали. Плѣнныхъ взяли, снаряды... У нихъ каманда плохая.

— Т. е., какъ это команда?—вмѣшался я въ разговоръ.—Офицеры ихніе что ли плохи?

— Нѣтъ, не плохи. У нихъ и солдатъ ничего, крѣпкій. Но только не дружный они народъ. Одни впередъ идутъ за офицеромъ, а другіе все норовятъ пулей работать. А гдѣ жъ тутъ стрѣлять, когда мы имъ на носъ лѣземъ.

— Ну, а наши офицеры каковы?—спросилъ я.

— У насъ хорошо. У насъ съ ними дѣло дружное, одинаковое дѣло!..

И, словно для того, чтобы пояснить эту нѣсколько неясную фразу солдата объ «одинаковомъ» дѣлѣ, на той же станціи разыгралась сцена, привлекшая къ себѣ общее вниманіе.

V.

Вдоль цѣпи вагоновъ, стоящихъ у перрона, сосредоточенно-бодрой походкой вышагивалъ взадъ и впередъ пожилой генералъ въ тужуркѣ съ желтымъ воротникомъ. Онъ о чемъ-то думалъ, и лицо его, строгое и задумчивое, носило на себѣ печать заботы.

Навстрѣчу ему изъ буфета стремительно пробѣжалъ молодой, рослый солдатъ, тоже съ желтымъ околышемъ. Увидя генерала, солдатъ звякнулъ шпорами и сталъ во фронтъ.

Генералъ, замѣтивъ его, двинулся къ нему быстрымъ стремительнымъ движеніемъ. Я не видалъ лица генерала, не слыхалъ его словъ.

Но меня поразилъ его жестъ. Онъ положилъ обѣ руки на плечи солдата и о чемъ-то его спросилъ.

— Такъ точно, ваше превосходительство, — послѣдовалъ быстрый, отчетливый отвѣтъ солдата.

Мягкимъ движеніемъ руки генералъ отстранилъ руку солдата отъ козырька и опять что-то спросилъ.

— Доблестно, ваше превосходительство,—громко прозвучалъ отвѣтъ.

Новый вопросъ генерала, и рѣзко, и коротко прозвучалъ отвѣтъ солдата:

— Убитъ, ваше превосходительство.

А кругомъ уже останавливались бывшіе на платформѣ люди. Останавливались въ почтительномъ отдаленіи, и видно было, что наблюдаемая сцена всѣхъ занимала.

Но генералъ не замѣчалъ публики. Не снимая рукъ съ плечъ солдата, онъ задавалъ ему тихіе короткіе вопросы.

И такъ же коротко молодой и громкій голосъ отвѣчалъ:

— Убитъ, ваше пр—во.

Генералъ прекратилъ свои вопросы. Помолчалъ. Пристально и долго, и мнѣ, показалось, съ нѣжностью смотрѣлъ на солдата.

И вдругъ не прежнимъ, а взволнованнымъ и громкимъ голосомъ сказалъ:

— Ну, сохрани тебя Богъ.

И, задержавъ на плечахъ солдата свои руки, трижды истово, по-русски поцѣловалъ его въ губы.

VI.

Кругомъ плакали женщины. Кой-кто изъ мужчинъ усиленно сморкался. Генералъ взглянулъ на толпу и, только теперь ее замѣтивъ, нахмурился, еще разъ взглянулъ на солдата, тронулъ пальцемъ козырекъ фуражки и быстрымъ отчетливымъ шагомъ пошелъ къ вагону.

И вотъ въ этотъ-то мигъ на меня, потрясеннаго этой сценой, пахнуло вновь дыханіемъ войны. Я понялъ, что война, ея символъ— не только оскаленная старуха, высовывающая костлявую свою руку изъ-за спины человѣка, заносящаго на человѣка же смертоносное оружіе. Война способна заставить человѣка проявить высшее самоотверженіе въ дѣлѣ, о которомъ ему, вмѣстѣ съ тѣмъ, нестерпимо тяжело разсказывать. Война родитъ героизмъ, жертвующій жизнью

за радость ощущенія опасности. Война воспитываетъ чувство долга. Идеи войны—побѣда первенства, подавленіе слабаго сильнымъ. И та же война роднитъ низшаго съ высшимъ, мужика и барина, равняетъ генерала съ солдатомъ.

Причудливая цѣпь кричащихъ противорѣчій! Жизнь какъ бы мститъ за то, что въ величавое ея теченіе чей-то замыселъ вклинилъ бѣшеный ураганъ военной распри. И, давая мѣсто на полѣ жизни ядовитому цвѣтку зла, жизнь даетъ этому цвѣтку дыханіе, полное благоуханнаго аромата.

Членъ Г. Думы **П. Герасимовъ.**

ВОСХОЖДЕНІЕ.

I.

Есть два новыхъ факта въ русской жизни, такихъ радостныхъ и чудесныхъ, что на нихъ страшно даже останавливаться мыслью: такъ они похожи на призракъ, на сказку, на сонную прекрасную грезу, которая можетъ разлетѣться прахомъ при первыхъ лучахъ туманнаго разсвѣта. И первый фактъ-призракъ—это внезапное отрезвленіе Россіи, явленіе, вся грандіозность котораго ничьимъ, кажется, еще не охвачена взглядомъ. Да и какъ объять необъятное!

Сталъ трезвымъ народъ, веселіе котораго пити—мрачное веселіе, полное крови, слезъ, бабьяго и дѣтскаго крика, грязи и невыносимаго стыда; народъ, который въ годъ пропивалъ милліардъ рублей и ровно на столько же пріобрѣталъ страданій; народъ, литература котораго на добрую треть посвящена водкѣ и пьянымъ; народъ, на Сѣнной площади потерявшій Помяловскаго. Одной этой страшной жертвы достаточно, чтобы проклясть сивуху, какъ проклиналъ ее въ жгучихъ страданіяхъ самъ Помяловскій,—а сколько еще! а сколько еще! Трудно найти человѣка среди нашихъ полутораста милліоновъ, чья личная жизнь такъ или иначе не была бы отравлена сивухой: либо самъ пилъ, либо отецъ, либо дѣти, кто-нибудь изъ близкихъ, изъ друзей; проклятый кругъ, ужасающая безысходность.

Благословенно все то, что углубляетъ жизнь, просвѣтляетъ сознаніе, поднимаетъ умъ и чувство на новую высоту. Жизнь, какъ гора, гдѣ съ каждымъ новымъ шагомъ кверху открываются новыя дали, свѣтлѣйшіе горизонты, прозрачнѣйшее небо. И есть чудесный поясъ, высоко надъ низинами земли, гдѣ теряется разница между страданіемъ и радостью, и оба они гармонически сливаются въ одно мощное чувство полета окрыленной высоты. И если вино еще способно иногда родить вдохновеніе, если есть счастливыя души, которыя окрыляются имъ, то наша родная сивуха обезкрыливаетъ даже орловъ, дурманитъ самое ясное сознаніе, держитъ плѣнный духъ въ мрачныхъ пропастяхъ и провалахъ. Она возвращаетъ человѣка къ хаосу, она ввергаетъ его

душу въ адъ; помутившійся разумъ безсильно трепещетъ и содрогается среди ужаснѣйшихъ кошмаровъ, чудовищныхъ грезъ, дикихъ, нелѣпыхъ призраковъ, томительныхъ, какъ безконечный бредъ сумасшедшаго. Нашъ пьяный всегда сумасшедшій, смѣется ли онъ или плачетъ, цѣлуется или дерется; и оттого онъ одновременно всегда отвратителенъ и страшенъ. Если вино, понижая моральное чувство (а оно *всегда* дѣлаетъ это), еще способно повышать дѣятельность интеллекта, то сивуха убиваетъ и нравственность и умъ. Одинъ за другимъ рушатся моральные устои, воздвигнутые тысячелѣтними усиліями очеловѣчиться; по нисходящимъ ступенямъ человѣкъ быстро спускается въ потемки звѣрства, въ мутную темь скотства: надъ развалинами храма уродливыми и страшными образами вырастаютъ инстинкты пола и разрушенія, гримасничаютъ чудесныя хари, къ чьему-то горлу тянутся хищные пальцы. А умъ? Разорванный на клочки, какъ облака вѣтромъ, сгустками тумана онъ проносится въ высотѣ, обрывками мыслей, даетъ хаосу видъ жизни, лжетъ, обманываетъ, теряется—иногда вопитъ въ ужасѣ мгновеннаго просвѣтлѣнія.

Но вотъ приходитъ утро, наступаетъ отрезвленіе послѣ мучительнаго сна, и начинается страшная работа совѣсти, нашей русской совѣсти, самой жестокой и непримиримой среди ея европейскихъ подругъ. Наказаніе идетъ слѣдомъ за преступленіемъ, вмѣсто европейской «Катцен-яммеръ», боли физической, начинается боль души, мучительное раскаяніе, почти всегда близкое къ отчаянію. Отъ пароксизма безумія къ пароксизму отчаянія—вотъ обычный путь русскаго пьяницы; сплошной надрывъ, сплошная безбожная чепуха, въ которой нѣтъ ни начала ни конца: ибо отчаяніе снова заливается сивухой, а сивуха снова родитъ отчаяніе и сосущую тоску. И нѣтъ въ этихъ страданіяхъ ничего творческаго—такъ, одна жестокая безсмыслица: бѣгаетъ человѣкъ по огненному кругу, какъ на дьяволовой кордѣ, пока не смилостивится смерть и не ввалитъ сразмаху въ могильную яму. А не пить дальше, разъ началъ, удержаться, остановиться, дать зарокъ—гдѣ найдешь такую волю?

Характерная наша черта: въ противоположность самодовольному—о, слишкомъ самодовольному!—германцу русскій человѣкъ всегда чего-то стыдится. Въ этомъ хорошаго мало: стыдъ понижаетъ жизнеспособность, ослабляетъ силы, онъ противоположенъ не только глупому и мѣщанскому самодовольству, но и чувству самоуваженія, честной гордости, безъ которыхъ немыслимо никакое творчество. И мнѣ кажется, что одна изъ главнѣйшихъ причинъ нашего самоубійственнаго стыда—все эта же проклятая сивуха со всѣми ея исчадьями,

вѣчный дурманъ и грязь, послѣ которыхъ воистину зазорно смотрѣть на свѣтъ Божій. Какое тутъ самоуваженіе, когда на улицу, бывало, выйти жутко... когда, случалось, и среди интеллигентнѣйшихъ россіянъ чувствуешь себя не то, какъ на скотномъ дворѣ, не то въ буйномъ отдѣленіи желтаго дома.

Отрезвить пьяную Россію—это какъ бы сызнова сотворить ее, это вдохнуть въ ея огромное и безалаберное тѣло такую необъятную мощь, такую свѣтлую, животворную и необъятную силу, передъ которой ничтожными пустяками, накожной болѣзнью, чесоткой отъ грязи кажутся всѣ другія ея бѣды. Отрезвить пьяную Россію—это всему цивилизованному міру принести драгоцѣннѣйшій даръ: могучаго союзника въ его высокихъ устремленіяхъ и цѣляхъ, свѣтлую богоносную душу, цѣны которой мы и сами еще не знаемъ. А какая это будетъ радость и намъ и всѣмъ добрымъ людямъ, когда улыбнется *печальный геній Россіи!*

И оттого такъ трудно вѣрить, что это случилось, что *это* началось.. такъ страшно думать. У великаго Бога земли Русской великъ и его антиподъ—Дьяволъ земли Русской, страшно это.

II.

И хотя второе чудо наше и радость наша фактически не связано ничѣмъ съ отрезвленіемъ Россіи, находится какъ бы въ другомъ планѣ, зачалось и родилось въ иной дѣйственной области—для меня мистически соединяются они во едино: трезвая Россія и возрожденная Польша, для которой осуществилась «мечта ея дѣдовъ и прадѣдовъ». Словно, отрезвившись отъ сивухи, очнулась Россія и отъ того страшнаго хмеля, въ чаду котораго разила такъ больно и печально ея братоубійственная рука. Развѣ это не первая улыбка печальнаго генія Россіи—Польша, открывающая намъ свои объятія, довѣрчиво, какъ у груди матери, ищущая защиты у сѣраго солдата-мужика, прижимающая свое прекрасное лицо къ его шершавому солдатскому сукну?

Вѣдь надо знать, какъ *мы* мучились неразрѣшимымъ «польскимъ вопросомъ», чтобы понять нашу радость... скажу безъ преувеличенія, что сами поляки едва ли могутъ радоваться такъ, какъ мы, ихъ недавніе и невольные притѣснители. Много ранъ и язвъ на огромномъ тѣлѣ Россіи, но, кажется, не было раны больнѣе и садче, нежели эта—язва національной безсмысленной вражды. Не велико удовольствіе: ходить, потупивъ глаза, чтобы не встрѣтить укоризненнаго взгляда, притворяться глухимъ, чтобы не услышать рокового вопроса, мычать,

какъ нѣмому, чтобы уклониться отъ безсильнаго и кривого отвѣта, —а сколько этого удовольствія испытывали мы по отношенію къ полякамъ! И снова тотъ же стыдъ, что и отъ совѣсть помрачающей сивухи, настойчивое, обезсиливающее, прискорбное неуваженіе къ себѣ.

Но здѣсь я невольно умолкаю, опускаю глаза. Если уже выходитъ изъ могилы Лазарь, трехдневный мертвецъ, обвитый пеленами, то тѣмъ печальнѣе кажутся другія, еще не раскрывшіяся могилы. И пока я ихъ вижу, я не могу смотрѣть прямо въ глаза; и пока я слышу стоны заживо погребенныхъ, я хочу быть глухъ,—и я буду нѣмъ. Ибо что отвѣчу я вопрошающимъ?

Подъ широкимъ небомъ Россіи такъ много мѣста всѣмъ. Прекрасная страна добрыхъ, трезвыхъ и сильныхъ людей не должна бояться призраковъ, хотя бы и освященныхъ тысячелѣтней давностью. Освободительница угнетенныхъ народовъ, какою нынѣ признала и уважаетъ ее Европа, Россія должна признать своими родными дѣтьми всѣхъ тѣхъ, кто кровью своею щедро утучняетъ ея поля, кто жизнью своею служитъ ея могуществу и славѣ. Такъ много мѣста всѣмъ подъ широкимъ небомъ Россіи!

Леонидъ Андреевъ.

ПЕРСПЕКТИВЫ.

(Миніатюра).

Хмуро настроенный Всеволодъ Павловичъ шагалъ, какъ звѣрь въ клѣткѣ, взадъ и впередъ по маленькой комнатѣ съ окномъ, выходящимъ въ стѣну большого каменнаго дома, которая была темна даже и днемъ. Онъ судорожно курилъ папиросу за папиросой, иногда останавливался на минуту, смотрѣлъ въ окно на дворъ и любовно улыбался, глядя, какъ дворникъ укладывалъ полѣнницу дровъ, чтобы, взваливъ ее на плечи, разнести по жильцамъ.

Въ сосѣдней комнаткѣ слышатся беззаботные дѣтскіе голоса и какой-то особенно непріятный пискъ. Всеволодъ Павловичъ силится ничего не слышать и нервно щиплетъ свою маленькую жиденькую рыжую бородку, но напрасно: тоненькій фальцетъ положительно не даетъ ему возможности сосредоточиться. А ему нужно записать на оборвышѣ бумаги, вырванной изъ чьей-то ученической тетради, тѣ минимальныя цифры, изъ которыхъ забыть, пропустить хотя бы одну—было нельзя. Всѣ онѣ результатъ того писка, который такъ нестерпимо рѣжетъ сейчасъ ухо, а избавиться, сократить этотъ пискъ при массѣ житейскихъ потребностей и при ограниченности того, что онъ получаетъ въ данное время—было невозможно.

По должности учителя реальнаго училища, онъ, вѣдь, получаетъ 460 рублей въ годъ. Нужно содержать жену и троихъ дѣтей. Всего шесть лѣтъ, какъ онъ окончилъ университетъ, свѣтло шелъ впередъ, разсчитывалъ на хорошую будущность и что же? На подаваемыя въ разныя учрежденія прошенія не получалъ отвѣта и лишь недавно, и то благодаря своему пріятелю по университету, добился семи уроковъ въ реальномъ училищѣ. Прожить ничтожное жалованье впятеромъ—не очень-то трудно. Приходится бѣгать, хлопотать, искать уроковъ, хотя бы на сторонѣ, не стѣсняться разстояніемъ и все же нести и думать, что можно еще заложить въ ломбардѣ.

Честная, а, главнымъ образомъ, непринаровленная къ трудностямъ натура Всеволода Павловича не могла довольствоваться мизерными грошами при все возрастающей дороговизнѣ жизни.

Когда онъ былъ студентомъ, ему хватало тѣхъ дешевыхъ уроковъ, которыхъ онъ имѣлъ, но, женившись, трудность стала расти непомѣрно и заставляла искать новые пути, пути къ достиженію необходимаго, чтобы не помереть съ голоду.

Его женитьба была не изъ завидныхъ. Онъ женился на курсисткѣ, которая сначала кромѣ старыхъ потрепанныхъ лекцій ничего не могла принести ему въ приданое. Но зато потомъ, послѣ нѣсколькихъ трудныхъ лѣтъ супружеской жизни, щедро, почти сразу, наградила тремя малышами. Результатъ налицо: вонючая конура, вмѣсто квартиры, сырые заплѣсневѣлые углы, всякая рухлядь, называемая «кабинетомъ», а, главное, этотъ пискъ, жалобный, слабый и безпомощный...

Вотъ уже два мѣсяца, какъ Всеволодъ Павловичъ держитъ въ рукахъ средство, которое можетъ сразу избавить его отъ писка,— стоитъ только принять предложеніе перемѣнить жалкую учительскую карьеру на мѣсто въ одномъ частномъ учрежденіи. И вмѣсто того, чтобы сразу ухватиться за предстоящую перемѣну своей карьеры, Всеволодъ Павловичъ цѣлыхъ два мѣсяца все думаетъ, да соображаетъ.

Онъ не разъ упрекалъ себя за свою скрытность, утайку отъ жены. Что если пойти сказать?

И онъ окончательно рѣшается.

Изъ спальни не слышно ни единаго звука. На цыпочкахъ, крадучись, онъ подходитъ къ двери, но на порогѣ радостное выраженіе слетаетъ съ его лица, уступаетъ мѣсто смущенному, виноватому...

Въ спальнѣ холодно и сыро. Посреди комнаты, между двумя кроватями, на табуреткѣ сидитъ жена и качаетъ люльку. Взоръ ея устремленъ на маленькаго, бѣлокураго мальчишку.

— Что, Петя уснулъ?

— Уснулъ,—привычнымъ шепотомъ отзывается его жена Ольга Петровна и пожимаетъ плечами, какъ бы недоумѣвая, зачѣмъ понадобилось Всеволоду Павловичу спрашивать то, чему онъ самъ свидѣтель.

— Надо бы доктора!

— Да, да, доктора!... подхватываетъ Всеволодъ Павловичъ и, на минуту закрывая лицо руками, начинаетъ быстро, быстро говорить.

Онъ говоритъ совсѣмъ не то, что хотѣлъ, но не можетъ уже остановиться.

— Какой вздоръ! Человѣкъ вездѣ можетъ остаться человѣкомъ!— убѣдительно заканчиваетъ онъ и, весь красный отъ волненія, останавливается.

Удивленіе его превышаетъ всякія границы. Ольга Петровна схватываетъ его руку, прижимаетъ къ губамъ и порывисто цѣлуетъ въ одну точку.

Нѣкоторое время длится молчаніе. Занятые другъ другомъ, они не замѣчаютъ того движенія, которое начинается въ маленькой корзинѣ.

— Смотри, смотри!?.. Онъ смѣется,—умиленно говоритъ Ольга Петровна мужу, показывая ему на люльку, и быстрыми ловкими руками приготовляетъ крошкѣ соску.

Въ комнатѣ раздается одно сосредоточенное чавканье.

— А знаешь? Возможно, что Орловъ перейдетъ въ провинцію, и у меня будетъ 12 уроковъ.

— Неужели? Двѣнадцать уроковъ? Ахъ, какъ было бы это хорошо! Мы раздѣлались бы съ долгами и тотчасъ же переѣхали бы изъ этой конуры,—восклицаетъ сіяющая Ольга Петровна.

Всеволодъ Павловичъ хочетъ придумать еще что-нибудь, что бы доставило ей удовольствіе, и, послѣ нѣкотораго размышленія, заявляетъ, что хорошо бы сводить дѣтей въ циркъ.

Чавканье прекращается. Ольга Петровна кладетъ палецъ на уста въ знакъ того, что теперь надо потише, и, заглядывая въ люльку, улыбается.

А въ дѣтской веселый беззаботный смѣхъ и Всеволодъ Павловичъ и Ольга Петровна начинаютъ играть въ лошадки съ дѣтьми.

Далеко за полночь. Вѣтеръ со свистомъ летаетъ по пустыннымъ улицамъ, жалобно стонетъ въ трубѣ.

Ветхія стѣны одинокаго заброшеннаго флигеля скрипятъ, точно жалуясь на свою дряхлость.

Дѣти, утомленныя игрой, спятъ тихо, безмятежно.

Въ спальнѣ надъ люлькой самаго маленькаго наклонилась чья-то фигура. Это докторъ Карлъ Карловичъ.

Ни Всеволодъ Павловичъ ни Ольга Петровна не могли опредѣлить, съ какого момента появились у маленькаго икота, желудочныя ненормальности и этотъ припадокъ.

Нѣсколько секундъ въ комнатѣ царитъ молчаніе, грозящее продолжиться до безконечности. Карлъ Карловичъ болѣзненно морщится.

— Сударыня, у васъ есть еще дѣти?

Но Ольга Петровна не отвѣчаетъ.

Понятно все. Она бросается къ корзинѣ, заглядываетъ въ нее и видитъ тамъ какой-то маленькій, блѣдный, неподвижный и странно чужой предметъ.

Карлъ Карловичъ пятится къ двери.

— Да, питаніе, питаніе—все...

Но Всеволодъ Павловичъ уже не слушаетъ. Онъ схватывается за голову, подбѣгаетъ къ корзинѣ, пристально, долго смотритъ и безсмысленно бормочетъ:

— Дурное питаніе!.. дурное питаніе!..

Сергѣй Казанскій.

ТОСКА.

(Разсказъ).

Часъ. Ивановъ бросаетъ рукоятку аппарата и поднимаетъ голову. Голова у него маленькая, рыжая, съ огромными оттопыренными ушами,—такая, что Ивановъ напоминаетъ летучую мышь — съ блѣднымъ лицомъ, освѣщеннымъ тусклыми сѣрыми глазами.

Онъ начинаетъ глядѣть въ окно, глядитъ долго, упорно, сосредоточенно, а на него глядитъ оттуда черная, холодная тьма. Ему кажется, что онъ чувствуетъ, ощущаетъ эту тьму, эту ночь.

«Ночь,—шепотомъ говоритъ онъ:—спать хочется»... Но онъ ошибается:—ему хочется говорить. Онъ давно уже не говорилъ. И онъ нарочно произноситъ громко:

«Ночь».

Но губы его сжались отъ долгаго молчанія, голосъ звучитъ хрипло и неувѣренно. И это слово «ночь» раздается какъ-то рѣзко, дико, оно кажется ему совсѣмъ незнакомымъ, словно онъ произнесъ его въ первый разъ въ жизни.

Ивановъ прислушивается. И теперь ему чудится, будто онъ слышитъ, какъ молчитъ тишина, онъ чувствуетъ, какъ она вѣетъ на него холоднымъ молчаніемъ. Слышно, какъ тикаютъ часы, какъ при каждомъ вздохѣ скрипитъ воротничекъ его рубашки...

Въ аппаратѣ что-то трещитъ, и онъ начинаетъ выстукивать. Ивановъ наклоняется къ нему, рука его касается катушки.

«Это—или пятому или проходящая»,—думаетъ Ивановъ. Телеграммы получаются все проходящія. Полустанокъ, гдѣ служитъ Ивановъ, затерянъ въ степи и здѣсь некому получать телеграммъ. Поѣзда тоже останавливаются рѣдко-рѣдко.

Но онъ угадалъ. Это сигналъ:«пятый» вышелъ.Пятый—курьерскій. Ивановъ надѣваетъ пальто и выходитъ въ залъ. «Залъ»—маленькая комната съ грязнымъ потолкомъ, подпертымъ деревянными столбами. Его освѣщаетъ коптящая жестяная лампа. Свѣтъ ея мигаетъ въ облакахъ табачнаго дыма. Отъ столбовъ идутъ длинныя расплывчатыя

тѣни. Въ углу, подъ иконой, лежатъ крестьяне. Они растянулись на мѣшкахъ, растегнувъ полушубки и положивъ возлѣ себя палки. Одинъ изъ лежащихъ одѣтъ въ какой-то черный балахонъ; это монахъ-странникъ. Мужики разулись. Ихъ большіе валенки стоятъ рядышкомъ, и отъ нихъ тоже падаютъ уродливыя тѣни. Одинъ мужикъ лежитъ, закинувъ подъ голову руки и широко раскрывъ глаза; онъ думаетъ. Другой, весь заплатанный, дырявый мужиченко роется въ пазухахъ и прикусываетъ что-то на зубъ. Они ждутъ, ждутъ съ обѣда, полсутокъ.

Ивановъ привыкъ къ нимъ, къ мужикамъ. Каждый день въ этомъ углу лежатъ мужики. Сначала они приходятъ къ нему «выправлять» билеты и долго звенятъ мѣдью, перебирая въ мошнахъ пятаки, чешутъ въ затылкѣ, бормочутъ что-то сдавленнымъ голосомъ. Потомъ—ложатся, вздыхаютъ, пьютъ водку и ждутъ, ждутъ долго, долго, терпѣливо... Поѣзда приходятъ, уходятъ. И каждый разъ Ивановъ высовываетъ къ нимъ голову изъ своего кассоваго окошечка и спрашиваетъ:

— Эй, вы, вамъ куда?.. Ахъ да, вамъ на десятый!..

И они отвѣчаютъ ему:

— Нѣ, намъ на Воскресенку...

И теперь онъ подходитъ и спрашиваетъ ихъ: «вамъ куда?» Онъ спрашиваетъ и знаетъ, что спрашивать не къ чему, что они будутъ лежать до тѣхъ поръ, пока не придетъ тотъ, ихній «спеціально мужицкій» поѣздъ, биткомъ набитый такими же мужиками, грязный, медленный...

Но ему хочется говорить.

Тотъ крестьянинъ, который чесался, приподнимается на локти и переспрашиваетъ: «чево?» Потомъ медленно отвѣчаетъ: «нѣ, мы на Воскресенку...»

Монашекъ лежитъ, смѣшно раскинувъ колѣни и задравъ носъ. Онъ улыбается во снѣ и свиститъ носомъ. И въ этомъ свистѣ слышится что-то вопросительно-насмѣшливое и удивленное. Носъ его словно не можетъ удержаться отъ смѣха, фыркаетъ и ехидно спрашиваетъ:

— Да ну? Неужели?.. Не можетъ быть! Ска-ажите!..

Ивановъ долго смотритъ на него, потомъ толкаетъ его и наклоняется къ нему. Но монашекъ не просыпается. Только носъ его переходитъ на другой тонъ, строгій, брюзжащій и высвистываетъ:

— Это еще что такое?.. А!..

Ивановъ слышитъ, какъ отъ монашка пахнетъ водкой. Этотъ запахъ раздражаетъ его, ударяетъ ему въ голову. Онъ чувствуетъ, что ему нужно выпить водки.

Но онъ вспоминаетъ о «пятомъ» и тихо шагаетъ къ выходу. Входитъ сторожъ Кирилла. Вмѣстѣ съ нимъ въ залу врывается струя пара и сквозь паръ огонь лампы кажется краснымъ.

Кирилла смотритъ на Иванова и выговариваетъ:

— Холодно, Петра Степанычъ!

И по тому, какъ сказалъ это Кирилла, Ивановъ слышитъ, что онъ выпилъ водки.

«Эхъ, водки бы»,—думаетъ онъ, беретъ стоящій на полу фонарь, и они съ Кириллой выходятъ на платформу. Дверь съ визгомъ захлопывается за ними, и они погружаются въ тишину. Ночь обступаетъ ихъ ледяная, безпросвѣтная, беззвучная...Только снѣгъ, завалившій платформу, скрипитъ подъ ногами... Отъ фонаря по снѣгу расползаются неровныя дрожащія тѣни.

— Холодно,—говоритъ Кирилла, постукивая ногу объ ногу.

Ивановъ замѣчаетъ, какъ отъ дыханія у него на усахъ образуются сосульки и по спинѣ пробѣгаютъ мурашки. Онъ ежится и вбираетъ голову въ плечи.

Кирилла—маленькій человѣчекъ съ веселымъ симпатичнымъ лицомъ. Только лицо его постоянно подмигиваетъ. Это объясняется тѣмъ, что въ правомъ глазу у него какая-то неисправность, съ дѣтства. Вѣко его постоянно подергивается; отъ этого лицо его имѣетъ выраженіе до-нельзя хитрое и лукавое, и съ Кириллой нельзя говорить безъ смущенія. Глазъ его такъ подмигиваетъ, будто хочетъ сказать: «знаемъ мы васъ, мошенниковъ...» Кирилла живетъ на полустанкѣ вмѣстѣ съ Ивановымъ восемь лѣтъ и очень любитъ Иванова.

Они стоятъ и смотрятъ въ черную даль...

— Не видать пятаго-то!—говоритъ Кирилла. И прибавляетъ:— А не покурить ли намъ съ вами, Петра Степанычъ? Мы вѣдь это съ вами можемъ!..

А глазъ подмигиваетъ: «знаемъ мы васъ!..»

Кирилла достаетъ трубку и раскуриваетъ ее, прижимая корявымъ пальцемъ табакъ.

Ивановъ глядитъ на небо. По нему медленно ползутъ рваные клочья облаковъ. «А высоко, должно быть, идутъ?»—думаетъ Ивановъ. Сквозь облака кое-гдѣ показываются звѣздочки. «Вотъ есть, говорятъ, Большая Медвѣдица»,—думаетъ онъ.—«Вотъ, вѣрно, эта, большая... А то еще—Венера...»

Кирилла, тоже всматриваясь въ небо и попыхивая трубкой, говоритъ:

— Эхъ, снѣжку бы Богъ далъ

Ивановъ лѣниво глядитъ на Кириллу и долго соображаетъ, зачѣмъ собственно понадобился Кириллѣ снѣжокъ. На станціи и такъ всѣ пути завалены снѣгомъ и Кириллѣ же приходится его счищать!.. Но почему-то поддакиваетъ Кириллѣ:

— Да...

Ему мучительно хочется говорить и, чтобы поддержать разговоръ, онъ объясняетъ Кириллѣ:

— Вотъ видишь... Эта вотъ звѣзда Большой Медвѣдицей называется... Тамъ, говорятъ, тоже люди живутъ.

Кирилла взглядываетъ на него внимательно и повторяетъ:

— Медвѣдица? Гм... А что я васъ спрошу,—продолжаетъ онъ:—не будетъ ли у васъ бумажки старой, на пыжи мнѣ?

— На пыжи?

— На пыжи... На волковъ поѣду.

— Ну?—съ интересомъ восклицаетъ Ивановъ,—неужели собираешься, правда?..

Ему хорошо извѣстно, что Кирилла собирается на волковъ каждый годъ, и никогда не ѣздитъ, и никогда не поѣдетъ, и потому, что ружье у него никуда не годится, и потому, что на двадцать верстъ отъ полустанка во всѣ стороны голая степь и никогда не бывало ни одного волка. Но онъ нарочно разспрашиваетъ его, качаетъ головой, улыбается. Онъ старается обмануть самого себя, что это его интересуетъ.

— Собираюсь, собираюсь,—говоритъ Кирилла.—Да вотъ ружьецо что-то расхлябалось.

— А ты бы, Кириллушка, почистилъ его,—совѣтуетъ Ивановъ. И вдругъ вспоминаетъ, что онъ гдѣ-то уже слышалъ эту фразу. Ба! Да это онъ самъ говорилъ въ прошломъ году... У него наступаетъ состояніе воспоминаній...

Ему представляется, что все это уже было когда-то. Все было такъ же: такъ же было холодно и темно и Кирилла, и Большая Медвѣдица.

— Господи!—думаетъ Ивановъ.

И опять ему хочется водки...

— Никакъ пятый идетъ,—указываетъ Кирилла на темноту. Ивановъ отдаетъ ему фонарь, и оба они медленно шагаютъ къ концу платформы, навстрѣчу «пятому».

Тамъ, откуда глядитъ на нихъ голая безпредѣльная степь, показывается свѣтлая точка... Восемь лѣтъ изо-дня-въ-день Ивановъ поджидаетъ здѣсь этой свѣтящейся точки, этого «пятаго». Онъ ждетъ

пятаго съ нетерпѣніемъ, какъ какого-то событія, онъ думаетъ о немъ все время. Его сутки дѣлятся на «до пятаго» и «послѣ пятаго»... Точка растетъ, растетъ. Вотъ уже ихъ три выплыло изъ мрака.

— Ишь гонитъ, во весь «легуляторъ» пустилъ,—замѣчаетъ Кирилла.

Изъ степи доносится протяжный сердитый ревъ. Въ рельсахъ на пути отдается тяжкое громыханье вагоновъ... Платформа вздрагиваетъ; словно что-то свирѣпое и могучее, стремительное и страшное подвигается на полустанокъ и сейчасъ раздавитъ его. Ближе, ближе. Рельсы трясутся и жалобно гудятъ... Совсѣмъ близко. Кирилла поднимаетъ фонарь.

И вдругъ сразу, съ вихремъ пара, дыма, осыпая полустанокъ дождемъ искръ, треща, громыхая, покачиваясь, проносится чудовище. Мелькаютъ освѣщенныя окна вагоновъ, въ нихъ фигуры людей. Проѣзжая платформу, паровозъ издаетъ короткій оглушительный ревъ. И въ этомъ звукѣ Иванову слышится презрѣніе къ этому ничтожному, заброшенному въ степи полустанку и къ нему, жалкому, маленькому Иванову. Ему становится почти больно, обидно, будто этотъ поѣздъ увозитъ отъ него что-то дорогое. Онъ впивается глазами въ сверкающія окна. Ему безумно хотѣлось бы броситься бѣжать за ними, вскочить туда и ѣхать, ѣхать съ этими людьми туда, туда... въ Москву...

Нѣсколько секундъ, и—поѣздъ унесся. Только красный фонарь послѣдняго вагона сверкаетъ, какъ зловѣщій глазъ чудовища.

— Прошелъ,—произноситъ Кирилла и идетъ въ залу.

А Ивановъ провожаетъ глазами красный фонарь и мысль его бѣжитъ за поѣздомъ, опережаетъ его; для нея нѣтъ ни пространства, ни времени...

Онъ въ Москвѣ... и много лѣтъ назадъ... Онъ маленькій. Онъ ходитъ въ красныхъ шароварахъ и у него кубики съ картинками. По воскресеньямъ онъ ходитъ къ тетѣ Варѣ, на Плющиху; тетя Варя угощаетъ его такими вкусными голубцами. Это представляется ему такъ ясно, что во рту Ивановъ ощущаетъ вкусъ голубца и глотаетъ слюнки. Дальше онъ видитъ себя въ гимназіи. Онъ былъ неловкій и скучный, не умѣлъ драться и его дразнили «сусликомъ»... Онъ помнитъ большую комнату съ сѣрой печью въ углу, съ черными столами и черной доской, на которой было написано: «Ивановъ идіотъ, остается на третій годъ». Помнитъ, какъ онъ шелъ домой, держа подъ мышкой «дневникъ», гдѣ было написано, что «означенный Ивановъ исключается постановленіемъ совѣта за лѣность». Потомъ—какъ его порютъ, какъ плачетъ тетя Варя.

Потомъ пошли скверные годы. Онъ былъ уже большой и сталъ пить, пить, пить... Тетинъ пріятель, дьяконъ Маркъ, нашелъ ему протекцію на телеграфѣ; два мѣсяца онъ долбилъ азбуку Морзе, и потомъ—аппаратъ... И ту-ту-ту-ту... на всю жизнь.

Потомъ... Вдругъ передъ Ивановымъ встаетъ яркое видѣніе. Маленькая, уютная, хорошо натопленная комната. (Въ мозгу его какъ-то особенно ясно отпечатлѣлось, что комната была хорошо натопленная. Чувствовался даже пріятный жаръ, идущій отъ только что закрытой печки). На покрытомъ бѣлой скатертью столѣ горитъ лампа съ зеленымъ абажуромъ. Кисейныя занавѣски на окнахъ сверкаютъ чистотой. Брошенное шитье съ воткнутой въ полотно иголкой лежитъ на стулѣ. А на шитьѣ усѣлся и, облизываясь, мурлычетъ большой бѣлый котъ «Маркизъ»... Маленькій «туалетъ» съ грошевыми бездѣлушками, зеркальцемъ въ рамкѣ изъ раковинокъ и его, Иванова, портретомъ. И самъ онъ, Ивановъ, тутъ же—молодой, трезвый, чисто вымытый... И кто-то ласково глядитъ на него. Чья-то маленькая рука, исколотая иглой, ласково перебираетъ его рыжіе торчащіе вихры. Кто-то цѣлуетъ его...

— Эхъ, выпить надо!—рѣшаетъ Ивановъ и уходитъ съ платформы. Но сначала онъ идетъ въ дамскую комнату; на полустанкѣ почему-то есть дамская комната... Ивановъ проходитъ черезъ залу. Въ залѣ все попрежнему. Такъ же лежатъ мужики, только монашекъ перевернулся, улегся животомъ внизъ, выставивъ изъ-подъ засаленнаго подрясника разутыя, грязныя ноги. Тѣ же тѣни. Такъ же стоитъ на полу фонарь, обернутый огнемъ къ стѣнѣ... Дамская комната—любимая комната Иванова. Она оклеена красивыми синенькими съ желтымъ обоями, и въ ней стоятъ стулья. На стѣнѣ, между печкой и окномъ, виситъ большой олеографическій какой-то московской парфюмерной фирмы плакатъ. На плакатѣ нарисована до пояса красивая фигура дѣвушки съ золотистыми кудрями и ясными, добрыми, шаловливыми, синими глазами. Въ рукѣ у нея букетъ цвѣтовъ. А сверху написано названіе духовъ... Зачѣмъ попалъ сюда этотъ плакатъ? На полустанкѣ не употребляютъ духовъ...

Ивановъ любитъ ходить сюда. Онъ подходитъ къ плакату и долго-долго смотритъ на дѣвушку. На лицѣ его появляется странная улыбка. Онъ смотритъ, и кажется ему, что свѣтлые глаза дѣвушки отвѣчаютъ ему, что цвѣты въ рукахъ ея дрожатъ, грудь ея дышетъ, что кудри на лбу растрепались, что она улыбается... Ивановъ что-то смутно вспоминаетъ. И вдругъ гдѣ-то внутри него волной поднимается что-то горячее. Глаза его мигаютъ...

— Эхъ, выпить надо,—говоритъ онъ и рѣшительно направляется въ контору...

Кирилла сидитъ на ларѣ и возится съ сапогами.

— Эхъ жисть!—философствуетъ онъ.—Все хорошо, все слава Богу и существовать даже очень недурно на этомъ свѣтѣ, а вотъ подвертки эти самыя промокаютъ, что ты хошь! А все оттого, что бабы нѣтъ...

Ивановъ садится къ столу, глядитъ на клеенку, всю залитую чернилами и всю испещренную надписями: «Ивановъ, Ивановъ, проба пера, проба пера»; на колоду пропитанныхъ саломъ картъ, въ которую вмѣсто потеряннаго «валета пикъ» вложена бумажка съ надписью «винный хлопъ», на оставшемся на полустанкѣ прейскурантѣ какого-то губернскаго трактира, откуда господамъ инженерамъ доставлялась снѣдь. Онъ даже машинально прочитываетъ двѣ строчки: «Ежедневно настоящіе ярославскіе колобки». И задумывается. «Ярославскіе колобки... М-м... хорошо бы поѣсть ярославскихъ колобковъ... А чортъ ихъ знаетъ, что за колобки? Вотъ устрицы, говорятъ, невкусныя,—пищатъ». Потомъ барабанитъ по столу пальцами и спрашиваетъ:

— Кириллушка, а, Кириллушка!

— Ну, что вамъ?

— Дай, ради Христа, водочки. Я двадцатаго все отдамъ.

Кирилла ставитъ на полъ сапогъ, взглядываетъ на Иванова и подмигиваетъ.

— Знаемъ мы васъ!

Ивановъ продолжаетъ:

— Дай, пожалуйста. Мнѣ очень нужно!

— Ну, ужъ ладно, отдамъ послѣднюю... Вы вотъ мнѣ только пыжа дайте, а то безъ пыжа—никуда. Ни на какую животную безъ пыжа нельзя, отнюдь на волка...

Кирилла достаетъ обтянутую тряпкой бутылку, наливаетъ стаканъ и подаетъ Иванову съ веселой шуткой:

— Нате, лопайте, Петра Степанычъ, авось обольетесь...

Ивановъ жадно выпиваетъ стаканъ залпомъ. Но онъ чувствуетъ, что водка не пьянитъ его, она жжетъ ему горло, заставляетъ его вздрогнуть, но—не пьянитъ. Онъ протягиваетъ стаканъ и опять выпиваетъ добрую половину безъ передышки. Потомъ опускаетъ голову на руки и думаетъ, думаетъ...

Аппаратъ начинаетъ стучать. Онъ повертываетъ катушку и слушаетъ. «Ту-ту-ту...» выстукиваетъ аппаратъ.

Проходящая... «Пріѣзжай, дорогая. Жду съ нетерпѣніемъ. Дома благополучно. Дочурка здорова. Цѣлую».

«Дома... Дочурка»,—шепчетъ Ивановъ, и глаза его мигаютъ. Лента тянется, испещренная этими черточками и точками, несущими тѣмъ далекимъ людямъ, живущимъ въ ихъ веселомъ мірѣ, радость, счастье или горе,—и Ивановъ опускаетъ голову на руки и опять задумывается... Цѣлые дни сматывается передъ нимъ съ катушки эта лента; цѣлые дни передъ нимъ чужія слова, чужія радости. Сама жизнь проходитъ передъ нимъ, полная волненій, любви, чувства, шумная, прекрасная и... чужая, идущая куда-то мимо, все мимо, «проходящая», какъ этотъ громыхающій «пятый».

Кирилла усаживается на скамьѣ и принимается читать книжку. Онъ учится читать, и для этого у него есть книжка Ушинскаго. Съ тѣхъ поръ, какъ Ивановъ его знаетъ, Кирилла всегда учится читать...

Медленно тикаютъ часы... Ивановъ сидитъ, опершись локтями на столъ, Кирилла, потѣя, морща лобъ и надуваясь, читаетъ статью про «Осла». Онъ умѣетъ прочесть только заглавіе и читаетъ все по-складамъ:

— О-сѣлъ.

Ивановъ поправляетъ его.

— Оселъ, Кириллушка, а не «осѣлъ».

Кирилла бойко повторяетъ:

— Оселъ, Петра Степанычъ!

И потомъ опять медленно и внятно произноситъ:

— О-сѣлъ.

— Оселъ,—снова поправляетъ Ивановъ.

Они сидятъ такъ нѣсколько минутъ, но Иванову кажется, что прошли часы... Онъ встаетъ и идетъ черезъ залъ въ дамскую комнату. За нимъ лѣниво плетется Кирилла.

— Эка краля,—говоритъ онъ, указывая на плакатъ.—Вотъ бы намъ съ вами сейчасъ такую!

— Полно, Кирилла!—останавливаетъ его Ивановъ. Онъ замѣчаетъ, что Кирилла вдругъ становится ему противенъ, гадокъ...

— Чего полно?.. Знаемъ мы васъ!.. Эхъ, хороши бы изъ этой картинки пыжи вышли. Добротная бумаженція.—И Кирилла щупаетъ плакатъ. Потомъ долго мнется на мѣстѣ, чешется, зѣваетъ и уходитъ спать.

А Ивановъ остается въ дамской комнатѣ. Онъ стоитъ передъ плакатомъ и смотритъ долго, не отрываясь, смотритъ и думаетъ...

Онъ не чувствуетъ, какъ проходитъ часъ, два... Тишина... Слышно, какъ въ залѣ вздыхаютъ мужики. Слышно, какъ въ конторѣ тикаютъ часы, стучитъ аппаратъ...

Ивановъ слушаетъ... И вихрастая голова его вздрагиваетъ и глаза мигаютъ... Потомъ онъ снимаетъ съ себя ремень, влѣзаетъ на стулъ и нащупываетъ торчащій въ стѣнѣ крюкъ...

Т. Ардовъ.

ГЕРОЙ.

Когда рядовой Егоръ Павлиновъ очнулся, была глубокая ночь и въ походномъ лазаретѣ стояла тишина, только изрѣдка прерываемая стономъ или бредовымъ бормотаніемъ.

Павлиновъ поднялъ немного голову, но почувствовалъ дурноту и снова опустилъ ее на подушку.

Неслышно прошла сестра милосердія съ краснымъ крестомъ на груди.

— Сестрица!—произнесъ Павлиновъ. Она моментально подошла къ нему.

— Попить бы мнѣ!

— Сейчасъ!

Она принесла кружку съ водой. Онъ сдѣлалъ нѣсколько глотковъ.

— Еще?

— Нѣтъ, довольно!

Сестра пошла дальше. Остановясь около одной койки, она долго смотрѣла на метавшагося раненаго и, внезапно закрывъ лицо руками, отошла.

Павлиновъ ясно видѣлъ, какъ ея плечи заходили отъ рыданій.

— Жалостливая,—подумалъ онъ, и ему стало пріятно думать, что около него находится и ухаживаетъ за нимъ такая добрая сестра.

Въ туманѣ памяти всплыло сердитое лицо доктора. На что-то кричалъ онъ, кого-то торопилъ, размахивая окровавленнымъ полотенцемъ.

Потомъ Павлиновъ помнитъ, что его положили на столъ, и острая, невыносимая боль въ ногѣ стала исчезать и смѣняться приторнымъ вкусомъ чего-то сладкаго...

Потомъ все исчезло, и онъ потерялъ сознаніе, а что было раньше, онъ отлично помнитъ. Онъ какъ сейчасъ представляетъ себѣ нападеніе на покинутую китайскую деревушку, въ которой оказалась цѣлая полурота японцевъ. Завязалась перестрѣлка.

Однимъ изъ первыхъ былъ убитъ офицеръ. Наши отвѣчали японцамъ, но тѣ ловко прятались за фанзы и выбивали на выборъ.

Палъ и унтеръ-офицеръ.

Солдаты смѣшались, не видя руководителя и не зная, что дѣлать.

Тогда Павлинова точно что толкнуло. Не помня себя, онъ выскочилъ впередъ и крикнулъ:

— Ребята, коли ихъ!

И со штыкомъ на перевѣсъ ринулся первымъ.

Солдаты бросились за нимъ.

Начался рукопашный бой, длившійся всего нѣсколько минутъ.

Большинство японцевъ было перебито, остальные спрятались въ гаолянѣ и стрѣляли оттуда...

Солдаты пришли въ себя, стали осматриваться. Кто-то замѣтилъ:

— А гдѣ же Павлиновъ?

Его начали искать. Онъ лежалъ подъ деревомъ, корчился и дѣлалъ попытки подняться.

— Ой, батюшки!—кричалъ онъ, — оступился! Нога горитъ! охъ, какъ горитъ!

Его подняли, положили на шинель и понесли. Боль стала еще ужаснѣе, онъ крикомъ кричалъ, молилъ его бросить, а его несли все дальше и дальше. Потомъ замелькали рубашки санитаровъ, какимъ-то туманомъ заволокло все, и только изрѣдка туманъ этотъ прояснялся и мозгъ запечатлѣвалъ отдѣльныя части какихъ-то картинъ...

Павлиновъ старался вспомнить, не могъ и тихо задремалъ опять...

Гдѣ-то далеко, далеко глухо раздавались пушечные выстрѣлы.

— Палятъ!—подумалъ Павлиновъ,—можетъ, японцы, а можетъ, и наши!

И онъ заснулъ крѣпкимъ сномъ выздоравливающаго человѣка.

Но пробужденіе его было страшно.

Когда онъ открылъ глаза, около его койки стоялъ врачъ съ цѣлой свитой и улыбаясь смотрѣлъ на него.

— Ну, какъ дѣла?

— Такъ что, ваше благородіе, ничего! можетъ, скоро и выпишусь!

— Теперь скоро!

— Больно бы хотѣлось назадъ въ свою роту, къ товарищамъ!

Докторъ махнулъ рукой.

— Шабашъ, братъ! не возьмутъ!

— Почему, ваше благородіе, если я...

— Съ одной ногой, братъ, солдатъ не бываетъ!

— Съ одной ногой... съ од...—не могъ даже докончить Павлиновъ. Губы его задрожали, и онъ, по-дѣтски всхлипывая, заплакалъ мелкими слезами.

— Такъ-то!—продолжалъ докторъ, — благодари Бога, что живъ остался! Однако, надо посмотрѣть!—и онъ откинулъ одѣяло.

Павлиновъ все еще не вѣрилъ, но, когда, приподнявъ голову, онъ увидалъ вмѣсто правой ноги какой-то толстый плотно забинтованный короткій обрубокъ, онъ вскрикнулъ и лишился чувствъ.

— Обычная исторія!—пробормоталъ докторъ, дѣлая знакъ фельдшеру.

И потянулись скучные дни въ лазаретѣ.

Павлиновъ поправлялся быстро, но въ то же время не могъ прійти въ себя. Онъ все недоумѣвалъ, и какое-то новое выраженіе, выраженіе крайняго изумленія запечатлѣлось на его лицѣ. Онъ точно не могъ понять, какъ это случилось, что у него, Егора Павлинова, шагавшаго по пятьдесятъ верстъ въ одинъ махъ, теперь нѣтъ ноги, и онъ, изъ здороваго, сильнаго, превратился въ калѣку. И въ мозгу его все назойливѣе и упорнѣе начиналъ шевелиться вопросъ:

— За что все это? какое ему дѣло было до японцевъ, до этой деревни, которую онъ теперь никогда и не увидитъ даже?

Побѣжалъ, бросился... ну, и налетѣлъ. А держался я бы въ сторонкѣ—и остался бы цѣлъ! Да и къ чему все это? Эта война, которая оторвала его отъ земли, отъ деревни и перебросила сюда въ невѣдомый край, о которомъ онъ никогда и не слыхалъ...

И Павлиновъ сердился на всѣхъ. Раздраженно и злобно смотрѣлъ онъ на надоѣвшія ему стѣны лазарета, на своихъ сосѣдей, на доктора, на сестеръ милосердія, которыя еще такъ недавно казались ему такими добрыми, хорошими...

Даже полученіе георгіевскаго креста не вызвало въ немъ особой радости.

Генералъ, обходившій лазаретъ, остановился около его койки.

— Рядовой Павлиновъ?—спросилъ онъ.

— Такъ точно, ваше превосходительство!—отчеканилъ тотъ.

— Молодецъ! не посрамилъ ты русскаго оружія! передъ врагомъ никогда отступать не надо! Спасибо!

И маленькій серебряный крестикъ на ленточкѣ желтой съ чернымъ опустили на одѣяло Павлинова.

Солдатъ хотѣлъ что-то отвѣтить, но генералъ былъ уже далеко. Онъ взялъ крестикъ, посмотрѣлъ на него, и сердце его какъ-то екнуло сознаніемъ, что у него навсегда останется эта награда, которая дается только избраннымъ и храбрецамъ...

— А нога?!—точно подсказалъ ему кто-то, и снова Павлинову стало грустно. Прощай, жизнь! Прощайте, силы! и снова въ головѣ

зашевелился все тотъ же назойливый и не укладывавшійся тамъ вопросъ:

— За что? Зачѣмъ?

Павлинова перевели въ другой лазаретъ, дальше отъ театра войны, и тяжелый грохотъ орудій пересталъ доноситься сюда. Здѣсь ничто не напоминало о войнѣ, и можно было бы подумать, что это обычное помѣщеніе больницы, если бы отъ времени до времени сюда не выплескивались жертвы стычекъ и боевъ. Блѣдные, искалѣченные, со впалыми глазами, дрожащіе отъ лихорадки, эти люди наполняли все помѣщеніе госпиталя, и можно было подумать, что они бѣжали отъ какого-то грознаго призрака, который гнался за ними по пятамъ и, заклятый, не могъ переступить порога этого жалкаго барака...

— За что?—спрашивалъ себя Павлиновъ, усаживаясь на койкѣ и смотря злыми глазами кругомъ.

И онъ не находилъ отвѣта.

А время шло.

Его переводили изъ одного лазарета въ другой, пока, наконецъ, не посадили въ вагонъ Сибирской дороги.

— Домой, значитъ!—злобно кривя губы, говорилъ Павлиновъ, еле двигаясь, такъ какъ справляться съ костылями онъ еще не могъ научиться.

— Домой!

— Ловко! въ хорошемъ видѣ я вернусь! Одна только половина осталась!

— Хорошо еще, что живъ!—отвѣчали ему, но онъ махалъ рукой.

— Живъ!

— И то, братъ, счастье.

— Живъ! на кой прахъ мнѣ эта жизнь! ни ходить, ни работать—ничего я не могу!

— А зато герой!—указывали ему на крестикъ, болтавшійся на его мундирѣ, который выгорѣлъ и сталъ широкъ.

Павлиновъ не отвѣчалъ ничего. У него были свои думы, которыми онъ ни съ кѣмъ не дѣлился и которыя всѣ сводились къ одному: за что?

Поѣздъ двигался то скоро, то медленно, останавливаясь подолгу на станціяхъ и пропуская мимо безчисленные поѣзда, которые неслись туда, на востокъ.

Полные воодушевленія, силъ и энергіи, солдаты смотрѣли на этихъ раненыхъ, которыхъ уже война выбросила за бортъ, и каждому изъ нихъ казалось, что это дѣло простой случайности и что это можетъ,

конечно, случиться съ другими, но его, именно его, никогда не тронетъ вражья сила.

И поѣзда расходились въ разныя стороны. Одинъ уносился съ протяжнымъ крикомъ «ура», въ другомъ шли тихіе разговоры, воспоминанія и задушевныя бесѣды.

Павлиновъ держался особнякомъ, и вообще-то, отъ природы, онъ не особенно былъ разговорчивъ, а теперь и совсѣмъ ужъ молчаливъ сталъ. И, прислушиваясь къ мирному уходу поѣзда, къ постоянной ноющей боли въ ногѣ, онъ все продолжалъ ворочать и переворачивать не поддававшійся до сихъ поръ разрѣшенію и отвѣту загадочный вопросъ:

— За что?

А поѣздъ уходилъ все дальше и дальше. Въ окна мелькали унылые сибирскіе виды съ рѣдкими большими селами, лѣсами, перелѣсками. Поѣздъ съ веселымъ свистомъ прорѣзывалъ эти, еще такъ недавно безлюдныя, тундры, подлеталъ къ станціи и останавливался, дрогнувъ всѣмъ своимъ суставчатымъ тѣломъ.

На платформѣ было движеніе, бѣгали люди, что-то кричали, прощались, махали руками.

Жизнь точно старалась проникнуть въ этотъ вагонъ скорби, въ это царство страдающихъ и захватить ихъ своимъ теченіемъ, но тщетно!

Поѣздъ уходилъ и словно затеривался въ безконечныхъ поляхъ, тундрахъ и лѣсахъ...

Показывались засыпанные снѣгомъ города. На станціи выѣзжали какія-то дамы. Онѣ торопливо входили въ вагоны, начинали распрашивать раненыхъ, какъ они себя чувствуютъ, и, конфузясь, совали имъ въ руки какіе-то пакетики съ подарками или деньгами.

— Берите, берите!—говорили онѣ,—вы герои!

И герои конфузились въ свою очередь.

Павлиновъ обращалъ на себя вниманіе и своимъ тяжелымъ увѣчьемъ и георгіевскимъ крестомъ.

— Вы очень страдали?—спрашивали его дамы, разсматривая въ лорнетъ его строгое, блѣдное лицо съ черной бородой.

— Очень!

— Бѣдный, бѣдный!

Начальникъ станціи входилъ въ вагонъ и, вѣжливо прикладывая руку къ околышу своей красной фуражки, напоминалъ о томъ, что пора выходить.

— Второй звонокъ!—точно извинялся онъ.

Съ испуганнымъ щебетаніемъ вылѣзали дамы, кидая раненымъ на ходу:

— Поправляйтесь! выздоравливайте!

И поѣздъ уходилъ опять...

Но вотъ, наконецъ, Сибирь осталась позади, начались отроги Урала, граница между Европой и Азіей, и солдаты почувствовали себя уже какъ бы дома.

— Россія матушка!—говорили кругомъ, и Павлиновъ почувствовалъ, что и въ его, казалось бы, искалѣченной и исковерканной жизни осталось еще что-то хорошее, свѣтлое...

Россія чувствовалась во всемъ, а когда поѣздъ съ рѣзкимъ грохотомъ влетѣлъ на мостъ черезъ Волгу и какъ бы повисъ надъ ней, и она обозначилась безконечной полосой широкой и вольной,—многіе заплакали.

— Все-таки вернулись!—говорили кругомъ Павлинова.

— Егоръ, чего ты молчишь?—толкали его товарищи.—Ноги-то нѣтъ! эка бѣда, не съ ногой жить, а съ добрыми людьми!

И всѣ смѣялись.

Павлиновъ думалъ,—думалъ настойчиво все о томъ же, и къ этому тяжелому недоумѣнію примѣшивалось еще новое чувство передъ тѣмъ впечатлѣніемъ, которое произведетъ его появленіе на жену.

Заголоситъ, завоетъ, причитать начнетъ!

Лучше бы совсѣмъ не возвращаться!

Добрались до Москвы. И путь этотъ казался Павлинову такимъ уже однообразнымъ и безконечнымъ, что потомъ онъ думалъ, что вся его жизнь только и прошла въ томъ, что онъ все ѣхалъ, ѣхалъ безъ конца, день и ночь, трясясь на этой койкѣ.

Въ Москвѣ опять показались дамы, но въ сопровожденіи кавалеровъ, которые хлопали раненыхъ по плечу и говорили:

— Ничего! ничего, господа! но зато вы теперь герои! васъ никто не зналъ, а теперь на васъ обращаетъ вниманіе весь міръ!

— Но японцы? правда, что они такого маленькаго роста?

— Грохотъ отъ выстрѣловъ сильный?

Раненые объясняли, какъ умѣли, слушатели смѣялись, старались обрисовать весь этотъ ужасъ въ розовыхъ краскахъ, и въ ихъ разговорахъ и въ ихъ смѣхѣ чувствовалось эгоистическое довольство и радость, что вотъ другимъ приходится переносить опасность, рисковать своей жизнью, а вотъ они дома, и ничего съ ними случиться не можетъ.

Павлиновъ смотрѣлъ на этихъ людей и думалъ:

— Почему же эти люди цѣлы, не искалѣчены, а я вотъ пострадалъ? почему имъ такое счастье, а мнѣ выпалъ другой удѣлъ?

И, глядя на обрубокъ ноги, онъ снова мучился надъ тѣмъ же вопросомъ, который жегъ его мозгъ:

— За что?

Перегонъ между Москвой и Петербургомъ совершился какъ-то незамѣтно. Не успѣли хорошенько выспаться, а ужъ поѣздъ подползалъ медленно, точно крадучись, къ столицѣ. Сѣрое небо плакало, туманъ парусами заволакивалъ все, и въ вагонахъ стало темно и непріютно. Санитары ожидали раненыхъ. Павлинову была оказана помощь, и въ ожиданіи кареты его усадили въ бархатное кресло.

Какіе-то два господина съ записными книжками въ рукахъ налетѣли на раненыхъ солдатъ. Что-то быстро бормоча и ежеминутно расшаркиваясь, они начали разспрашивать, кто гдѣ былъ раненъ, сильно ли страдалъ при этомъ и какое вынесъ впечатлѣніе войны. И въ сотый разъ солдаты передавали то же самое, но говорили вяло, блѣдно, потому что имъ все это надоѣло, да и пережитое заслонилось усталостью и новыми впечатлѣніями безконечнаго пути.

— Ваша фамилія?

— Павлиновъ!

Любопытствующіе господа заволновались.

— Неужели это тотъ?

— Вѣроятно!

— Скажите, это вы повели свой отрядъ въ атаку и выбили японцевъ?

— Да, я!—нехотя отвѣчалъ Павлиновъ.

— Это очень интересно! О васъ намъ телеграфировалъ нашъ спеціальный корреспондентъ!

Павлиновъ молчалъ.

— Вы позволите снять съ васъ фотографію?—и у одного откуда-то появился аппаратъ.

— Не шевелитесь! вотъ такъ! голову поверните немного въ эту сторону!

Затворъ щелкнулъ.

— Отлично! Спасибо вамъ, большое спасибо!

— Вы вѣдь герой!

Павлинова повезли въ пріютъ, тамъ онъ отдохнулъ, пришелъ въ себя и, наконецъ, могъ отправиться домой.

До села было недалеко, всего одна ночь, и потому онъ увѣдомилъ жену открытымъ письмомъ, чтобы она выѣхала къ поѣзду. Павлиновъ

былъ убѣжденъ, что она его встрѣтитъ и онъ не останется въ безпомощномъ положеніи на вокзалѣ.

— Въ былое время изъ Питера привезъ бы женѣ гостинцевъ!— говорилъ онъ товарищамъ,—а теперь!

И онъ махалъ рукой.

— Что?

— Такой гостинецъ везу, что лучше и не надо!

На вокзалъ его проводили, усадили въ вагонъ, и когда поѣздъ двинулся, въ первый разъ послѣ столькихъ мѣсяцевъ онъ почувствовалъ себя съ народомъ, внѣ военной среды.

Сначала занялись имъ, заставили разсказать, но ихъ интересовало совершенно другое, чѣмъ дамъ, кавалеровъ и любопытныхъ съ книжками. Они не разспрашивали о томъ, какого роста японцы или какъ свистятъ шрапнели. Имъ хотѣлось знать—насколько трудно приходится на войнѣ нашему солдату, сколько онъ переноситъ, сколько терпитъ.

Имъ хотѣлось знать, скоро ли окончится война и къ роднымъ нивамъ вернется эта громадная сила, оторванная отъ сохи.

И когда Павлиновъ разсказывалъ, то онъ почувствовалъ, что у него выходитъ совершенно иначе. Волна сердечной теплоты народа захватила его, и онъ говорилъ долго, горячо говорилъ, и всѣ слушали его съ затаеннымъ дыханіемъ, только иной разъ слышалось:

— О, Господи!

— Мать Честна Богородица, помилуй насъ!

Петербургъ остался далеко. Когда Павлиновъ утромъ проснулся и услыхалъ знакомыя названія станцій, сердце его забилось усиленно. Еще нѣсколько часовъ, и онъ очутится дома...

Здѣсь все свое, все родное, къ чему онъ привыкъ съ дѣтства, съ чѣмъ былъ неразрывно связанъ...

И Павлинову казалось, что тотъ проклятый вопросъ, о которомъ онъ не переставалъ думать, былъ уже близокъ къ разрѣшенію.

Кондукторъ отобралъ билеты.

— Кавалеръ!—спросилъ онъ,—тебѣ помочь, али встрѣчать выѣдутъ?

— Я писалъ!

Вотъ, наконецъ, и станція. Потянулась платформа пустынная, безконечная. Павлиновъ прильнулъ къ стеклу окна и увидалъ свою жену, закутанную, съ худымъ, истомленнымъ лицомъ. Она провожала глазами проползавшіе вагоны и вдругъ увидала давно жданный, безконечно дорогой ей обликъ...

И стояли они вдвоемъ на платформѣ безъ словъ, безъ слезъ даже, такъ было слито ихъ чувство радости съ горемъ пополамъ.

Павлиновъ заговорилъ первый:

— Пойдемъ!

Опираясь на костыль, онъ добрался до саней, вытянулъ обрубокъ ноги, и невольный стонъ вырвался у него.

— Больно?

— Ничего!

А лошадь поднималась медленно въ гору, и когда доѣхали до ея вершины, и открылся видъ на громадное пространство съ полями, лѣсами, селами, церквами—вдругъ разомъ въ одно мгновеніе все стало ясно. Онъ нашелъ отвѣтъ на вопросъ. Онъ понялъ, что, начиная отсюда, отъ этихъ селъ и все дальше и дальше, на тысячи верстъ, до самыхъ береговъ Тихаго океана—это все одна земля, политая кровью, облитая потомъ русскаго человѣка, и что малѣйшее прикосновеніе къ ней должно отразиться отъ моря и до моря.

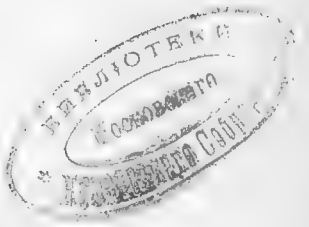
И послѣ долгой злобы, послѣ мучительнаго недовольства въ первый разъ за все время Павлиновъ почувствовалъ себя избраннымъ, счастливымъ, что ему маленькому, незамѣтному человѣку выпало на долю защищать своимъ тѣломъ эту безконечную Россію-мать.

— А знаешь, Дуня,—сказалъ Павлиновъ, улыбаясь,—мой портретъ въ газетѣ будетъ!

— Да что ты!

И оба они смѣялись и считали это страннымъ, ибо что же онъ сдѣлалъ особеннаго. Вѣдь такъ поступилъ бы каждый на его мѣстѣ.

А. Осиповъ.



КОРОЛЬ, ЗАКОНЪ и СВОБОДА.

(Новая пьеса **Леонида Андреева**).

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Мы печатаемъ ниже четвертую картину новой неизданной пьесы Л. Н. Андреева «Король, законъ и свобода», поставленной въ Москвѣ въ «Свободномъ театрѣ». Всѣхъ картинъ въ пьесѣ шесть. Авторъ и редакція остановились на четвертой, какъ потому, что она представляется наиболѣе закругленной и законченной въ самой себѣ, такъ и потому, что въ ней ярко сгущено отличающее драму настроеніе ужаса и мучительства войны, какое найдетъ въ наши дни такой полный откликъ въ читательскихъ сердцахъ.

Сокрушительная гроза германо-бельгійской войны разряжается надъ головой знаменитаго бельгійскаго писателя Эмиля Грелье и его семьи, чутко и страдальчески воспринимающей ужасъ разгрома маленькой, но прекрасной и героической Бельгіи. Изъ цвѣтущаго сада день за днемъ превращается она въ грустное пепелище.

Четвертая картина, такая законченная и такая цѣльная, едва ли нуждается въ предварительныхъ поясненіяхъ. Передъ читателемъ полная возможность и оцѣнить ея достоинства, и пережить настроеніе—поэтической писательской виллы, превращенной въ лазаретъ, гдѣ трепетно и горячо бьются благородныя сердца людей, изъ мирныхъ гражданъ и служителей красоты превратившихся въ защитниковъ отечества.

ЧЕТВЕРТАЯ КАРТИНА.

Сумрачный разсвѣтъ Солнце взошло уже давно, но его не видно за густой пеленой тумана и дыма.

Большая комната въ виллѣ Э. Грелье, приспособленная къ тому, чтобы въ ней могли находиться раненые. Ихъ двое: самъ Э. Грелье, серьезно раненый въ плечо, и сынъ, Морисъ, у котораго легкая рана на правой рукѣ. Большое окно, задернутое полупрозрачными портье-

рами, даетъ слабый синеватый свѣтъ, въ которомъ съ трудомъ различаются постели подъ бѣлыми одѣялами. Оба раненые какъ будто еще спятъ. Въ креслѣ у постели Э. Грелье неподвижная фигура въ бѣломъ—это Жанна. Тихо.

Э. Грелье (тихо). Жанна!

Она быстро наклоняется къ постели.

Жанна. Дать тебѣ воды?

Э. Грелье. Нѣтъ. Ты устала.

Жанна. Нѣтъ, ничего, я дремала всю ночь. Ты не можешь спать, Эмиль?

Э. Грелье. Который часъ?

Она неслышно подходитъ къ окну и, слегка отодвинувъ портьеру, разсматриваетъ маленькіе часы. Такъ же неслышно возвращется.

Жанна. Еще рано. Ты, можетъ быть, заснешь, Эмиль? Мнѣ кажется, что тебѣ очень больно, ты стоналъ ночью.

Э. Грелье. Нѣтъ, мнѣ легче. Какое утро?

Жанна. Плохое, Эмиль, Туманъ, и солнца не видно. Засни.

Молчаніе. Тишина. Вдругъ на своей постели вскрикиваетъ во снѣ Морисъ; крикъ переходитъ въ стонъ и невнятное бормотаніе. Жанна подходитъ и прислушивается, потомъ возвращается назадъ.

Э. Грелье. Мальчикъ ничего?

Жанна. Ничего, будь спокоенъ, Эмиль. Это онъ во снѣ.

Э. Грелье. Сегодня онъ нѣсколько разъ такъ.

Жанна. Я боюсь, что онъ тебѣ мѣшаетъ. Его можно въ другой комнатѣ и съ нимъ будетъ Генріэтта. У мальчика здоровая кровь, черезъ недѣлю можно будетъ, кажется, снять повязку.

Э. Грелье. Нѣтъ, пусть тутъ. Жанна!

Жанна. Что, дорогой мой?

Становится у постели на колѣни и цѣлуетъ осторожно неподвижную руку, лежащую поверхъ одѣяла.

Э. Грелье. Жанна...

Жанна. Жаръ, кажется, меньше... дорогой мой!

Приникаетъ долгимъ поцѣлуемъ къ рукѣ.

Э. Грелье. Ты моя любовь, Жанна.

Жанна. Молчи, молчи. Не волнуйся.

Короткое молчаніе.

Э. Грелье (безпокойно передвигаетъ голову). Мнѣ трудно дышать, здѣсь воздухъ...

Жанна. Окно открыто всю ночь, мой милый. Такой воздухъ неподвижный.

Э. Грелье. Дымъ.

Морисъ (вскрикиваетъ снова, бормочетъ). Стой, стой, стой! (Снова невнятно). Оно горитъ, горитъ оно. Ой! Кто на батарею, кто на батарею...

Бормочетъ и затихаетъ.

Э. Грелье. Тяжелые сны.

Жанна. Это ничего, мальчикъ и всегда любилъ поговорить во снѣ. А вчера у него былъ такой свѣжій видъ.

Э. Грелье. Жанна!

Жанна. Что, дорогой мой?

Э. Грелье. Сядь.

Жанна. Хорошо.

Э. Грелье. Жанна... а о Пьерѣ ты думаешь?

Молчаніе.

Жанна (тихо). Не надо.

Э. Грелье. Да, не надо. Смерть, это вовсе не такъ страшно, правда, Жанна?

Жанна (послѣ нѣкотораго молчанія). Правда.

Э. Грелье. Потомъ пойдемъ къ нему мы. Онъ сюда не придетъ, но мы къ нему пойдемъ. Мнѣ ночью что-то казалось, я объ этомъ думалъ. Такъ ясно! Ты помнишь красную розу, которую ты ему дала? Я помню.

Жанна Да.

Э. Грелье. Такъ ясно! Жанна, наклонись ко мнѣ! Ты лучше всѣхъ.

Молчаніе.

Э. Грелье (мечется). Мнѣ трудно дышать.

Жанна. Дорогой мой...

Э. Грелье. Нѣтъ, ничего. Это ночь мучаетъ меня. Жанна, мнѣ это приснилось или, дѣйствительно, была слышна канонада?

Жанна. Да, была слышна—въ пятомъ часу. Но очень далеко, Эмиль, едва слышно. Закрой глаза, милый, отходни.

Молчаніе.

Морисъ (негромко). Мама.

Жанна неслышно подходитъ.

Жанна. Проснулся?

Морисъ. Да. Больше не хочется. Что папа?

Жанна. Онъ не спитъ.

Э. Грелье. Здравствуй, Морисъ.

Морисъ. Доброе утро, папа. Какъ ты себя чувствуешь? Я—хорошо.

Э. Грелье. Я тоже. Жанна, можно открыть, я спать не буду.

Жанна. Да, можно уже. Видишь, какой плохой день, но все-таки при свѣтѣ тебѣ легче будетъ дышать.

Постепенно, чтобы не сразу свѣтъ, открываетъ драпри. За большимъ окномъ смутные силуэты деревьевъ, у самыхъ рамъ нѣсколько поникшіе цвѣты. Морисъ уже задвинулъ свои ширмочки и что-то возится тамъ.

Жанна. Ты что, Морисъ?

Морисъ. Да шинель... ничего, я самъ. (Виновато). Нѣтъ, мама, помоги.

Жанна (уходя за ширмы). Какой ты глупый, Морисъ. (За ширмой). Осторожнѣе, осторожнѣе, ну, такъ! Не торопись, осторожнѣе.

Морисъ (за ширмой). Ты мнѣ здѣсь заколи, какъ вчера. Такъ очень удобно.

Жанна (за ширмой). Ну, конечно. Погоди, потомъ поцѣлуешь... ну? Такъ.

Морисъ выходитъ, правая рука у него на перевязи. Подходитъ къ отцу и сперва цѣлуетъ его руку, потомъ по его знаку глазами цѣлуетъ въ губы.

Э. Грелье. Здравствуй, здравствуй, мой миленькій.

Морисъ (оглядываясь на ширмы, гдѣ мать убираетъ постель). Папа, посмотри.

Вынимаетъ руку изъ повязки и быстро выпрямляетъ ее. Потомъ также быстро прячетъ обратно. Э. Грелье слегка грозитъ ему пальцемъ. Жанна отставляетъ ширмы, за которыми уже убранная постель.

Жанна. Ну вотъ, готово. Пойдемъ, Морисъ, въ ванную, я тебя умою.

Морисъ. Ни за что! Я сегодня самъ. Я вчера вечеромъ уже самъ умывался лѣвой рукой, и превосходно. (Подходя къ раскрытому окну). Какая гадость, однако! Эти негодяи совсѣмъ испортили день. А все-таки тепло и пахнетъ цвѣтами. Нѣтъ, хорошо. Папа, очень хорошо!

Э. Грелье. Да. Пріятно.

Морисъ. Ну, я пойду.

Жанна. Зубы почисти, ты вчера этого не сдѣлалъ, Морисъ.

Морисъ (ворчитъ). Ну, стоитъ сейчасъ!—Хорошо, хорошо, я сдѣлаю. (Отъ двери). Папа, а знаешь: сегодня будутъ хорошія вѣсти, я это чувствую.

Слышно, какъ онъ звонкимъ голосомъ кричитъ: Сильвина!

Э. Грелье. Мнѣ легче, Жанна. Совсѣмъ легче. Кто-нибудь поливаетъ цвѣты?

Жанна. Да, насколько возможно. Сейчасъ я дамъ тебѣ кофе... ты сегодня много лучше выглядишь, много лучше!

Э. Грелье. Это, что?

Жанна. Одеколонъ съ водой, я вытру лицо,и тебѣ станетъ свѣжѣе. Вотъ такъ, вотъ и снова у меня маленькіе дѣти, которыхъ надо мыть, вотъ и снова... Видишь, какъ пріятно!

Э. Грелье. Да. Что онъ говоритъ про хорошія вѣсти?

Жанна. Это онъ такъ, онъ очень счастливъ оттого, что онъ герой!

Э. Грелье. Ты знаешь что-нибудь новое?

Жанна (неопредѣленно). Новаго ничего,—что же можетъ быть новое?

Э. Грелье. Говори. Ты была рѣшительнѣе, Жанна. Говори, дорогая.

Жанна. Развѣ рѣшительнѣе? Можетъ быть... Это я ночью привыкла съ вами говорить тихо. Ну—какъ тебѣ сказать это, Эмиль... они идутъ.

Э. Грелье. Идутъ?

Жанна. Да. Ты же знаешь, сколько ихъ и сколько насъ. Ты не волнуйся, но сегодня намъ, вѣроятно, придется уѣхать въ Антверпенъ.

Э. Грелье. Они близко.

Жанна. Да, недалеко. Очень близко. (Напѣваетъ): Le Roi, la Loi, la Liberté... Очень близко. Я тебѣ еще не сказала, что вчера король справлялся о твоемъ здоровьѣ. Я отвѣтила, что тебѣ лучше и что ты можешь сегодня поѣхать.

Э. Грелье. Да, конечно, могу. А что онъ говорилъ о тѣхъ?..

Жанна. Что говоритъ король? (Напѣваетъ то же). Что ихъ слишкомъ много.

Э. Грелье. А еще? А еще, Жанна!

Жанна. А еще? А еще, Эмиль, что есть Богъ и справедливость. Такъ мнѣ послышалось, Эмиль: есть еще Богъ и справедливость. Не правда ли, какія старыя слова, Эмиль?—но такъ хорошо, что они еще существуютъ.

Молчаніе.

Э. Грелье. Да, ты днемъ другая. Откуда у тебя столько силы, Жанна?

Жанна. Откуда?

Э. Грелье. Да. Я все смотрю на твои волосы: отчего они не бѣлѣютъ?

Жанна. Я ихъ крашу ночью, Эмиль.—Сейчасъ, я принесу еще цвѣтовъ. Теперь у тебя совсѣмъ уютно. Да, я еще не сказала: сегодня кто-то будетъ у тебя. Министръ Лагардъ и съ нимъ кто-то, кто зовется графъ Клермонъ.

Э. Грелье. Графъ Клермонъ? Я не знаю.

Жанна. Такъ и нужно, чтобы ты не зналъ. Это просто называется графъ Клермонъ, графъ Клермонъ... это хорошее имя для очень хорошаго человѣка.

Э. Грелье. Я знаю одного очень хорошаго человѣка въ Бельгіи...

Жанна. Тсс! Ты ничего не долженъ знать. Ты долженъ только запомнить: графъ Клермонъ. Имъ необходимо о чемъ-то очень важномъ переговорить съ тобой, я такъ думаю. И тебѣ пришлютъ автомобиль, чтобы ѣхать въ Антверпенъ...

Э. Грелье (улыбаясь). Графъ Клермонъ?

Жанна (также). Да.—Тебя всѣ очень любятъ, Эмиль, но если бы я была король, я прислала бы тебѣ аэропланъ. (Закладывая руки, съ печалью, которую тщетно старается подавить). Ахъ, такъ хорошо теперь подняться надъ землей и полетѣть... и долго, долго летѣть!...

Входитъ Морисъ.

Морисъ. Вотъ я и готовъ, почистилъ зубы и былъ даже въ саду. Я немного, немного, мама! Но почему я раньше не замѣчалъ, что у насъ красивый садъ? Папа, нашъ садъ удивительно красивъ!

Жанна. Сейчасъ будетъ кофе. Если онъ станетъ мѣшать тебѣ болтовней, Эмиль, позови меня.

Морисъ. О! Я не думалъ, прости, папа! Я не буду!

Э. Грелье. Говори, говори. Мнѣ совсѣмъ лучше, почти хорошо.

Жанна. Но тебѣ надо беречь силы, не забудь, Эмиль.

Выходитъ.

Морисъ (скромно садясь у окна). Можетъ быть, мнѣ дѣйствительно помолчать, папа?

Э. Грелье (слабо улыбаясь). А ты это можешь?

Морисъ (краснѣя). Нѣтъ, папа, сейчасъ не могу. Я, вѣроятно, кажусь тебѣ еще очень молодъ, папа?

Э. Грелье. А ты какъ думаешь самъ?

Морисъ (снова краснѣя). Да, это правда. Но все же отдай мнѣ справедливость: я уже не такъ молодъ, какъ три недѣли назадъ. Да, всего только три недѣли... Помню набатъ на нашей церкви, помню, какъ я тормошилъ Франсуа... какъ странно, что Франсуа пропалъ безъ вѣсти. Что это значитъ: человѣкъ пропалъ безъ вѣсти?... Вдругъ пропасть безъ вѣсти! Прежде все такъ видно было на землѣ.

Э. Грелье. Да.

Морисъ. Папа! Почему такихъ вѣшаютъ, какъ Франсуа? Это жестоко и глупо... извини, что я такъ рѣзко говорю. Но развѣ старый долженъ меньше любить свою землю, чѣмъ я, напримѣръ? Старые любятъ еще больше, и пусть всякій дерется какъ умѣетъ. Я не утомляю тебя, папа? Къ намъ пришелъ одинъ такой, совсѣмъ дряхлый, просилъ патроновъ—ну, пусть повѣсятъ и меня: я ему далъ. Нѣкоторые изъ нашего полка надъ нимъ шутили, но онъ сказалъ: если только одна прусская пуля попадетъ въ меня, то-значитъ, у пруссаковъ будетъ на пулю меньше. Мнѣ это понравилось. Папа.

Э. Грелье. Да. Мнѣ также. Ты слыхалъ канонаду на... на разсвѣтѣ?

Морисъ. Нѣтъ! А развѣ, папа?..

Э. Грелье. Да, стрѣляли. Мама говорила тебѣ: они приближаются. Идутъ.

Морисъ (вставая). Да? Не можетъ быть!

Э. Грелье. Идутъ. И сегодня намъ надо уѣзжать въ Антверпенъ.

Морисъ. Да?

Быстро и легко ходитъ по комнатѣ, забывъ о раненой рукѣ. Взволнованъ. Сжимаетъ кулакъ.

Морисъ. Папа! Скажи, что ты думаешь о положеніи вещей?

Э. Грелье. Мама говоритъ: еще есть Богъ и справедливость.

Морисъ (поднимая руку). Мама говоритъ... пусть Богъ благословитъ мою маму! Я не знаю... я... ну, хорошо, ну, хорошо! Мы еще посмотримъ, мы еще посмотримъ!

По ребячьи кривитъ лицо, стараясь удержать слезы.

Морисъ. Я еще за Пьера имъ долженъ! Извини, папа, я знаю, что я не смѣю такъ, но пойми, что я совсѣмъ другое дѣло, чѣмъ ты! Ну, и нехорошо, ну, и не могу я. Я сегодня въ саду смотрѣлъ на твои цвѣты и мнѣ стало такъ жалко... тебя, что ты ихъ растилъ... Мерзавцы!

Э. Грелье. Морисъ!

Морисъ. Мерзавцы! Не хочу ихъ считать за людей и не стану!

Жанна входитъ.

Жанна. Морисъ, что это? Какъ нехорошо!

Морисъ. Пусть!

На ходу лѣвой рукой крѣпко обнимаетъ мать и цѣлуетъ ее.

Жанна. Ну хоть сядь, тебѣ вредно такъ ходить.

Э. Грелье. Сядь, Морисъ.

Морисъ садится у окна лицомъ къ саду. Жанна спрашиваетъ глазами, что съ нимъ. Э. Грелье печально улыбается и устало

закрываетъ глаза. Сильвина, горничная, вноситъ кофе, приготовляетъ на столикѣ около кровати Э. Грелье.

Сильвина. Доброе утро, мсье Эмиль.

Э. Грелье (открывая глаза). Доброе утро, Сильвина.

Сильвина выходитъ.

Жанна. Иди завтракать, Морисъ.

Морисъ (не оборачиваясь). Я не хочу. Мама, я завтра сниму повязку.

Жанна (смѣется). Солдатъ, неужели ты капризничаешь?

Молчаніе. Жанна помогаетъ Э. Грелье пить кофе.

Жанна. Дай твою голову, Эмиль. Такъ. Удобно тебѣ такъ, или лучше ложечкой? О, моя бѣдная голова, такая слабая!..

Морисъ (подходя). Извини меня, папа, я больше не буду. Я очень глупо погорячился, но, знаешь ли, никакое терпѣніе этого не выдержитъ! Мнѣ можно взять чашку, мама?

Жанна. Да, это твоя. Теперь прошло?

Морисъ. Прошло, мама.

Э. Грелье. Мнѣ сегодня совсѣмъ хорошо, Жанна. А когда перевязка?

Жанна. Вѣроятно, уже потомъ... Графъ Клермонъ привезетъ сегодня своего хирурга.

Морисъ. Кто это, мама? Я его видалъ?

Жанна. Увидишь. Но только пожалуйста Морисъ, когда увидишь его, не раскрывай рта такъ широко. У тебя есть эта привычка: раскрыть ротъ и забыть про него.

Морисъ (краснѣя). Вы оба смотрите на меня и улыбаетесь; ну, значитъ такъ и надо. Но мы еще подрастемъ, мы еще подрастемъ!

На улицѣ гудокъ одного автомобиля, другого; точно вызываютъ гудкомъ.

Жанна (поспѣшно вставая). Вотъ, кажется! Морисъ, это только графъ Клермонъ, не забудь... Я сейчасъ. Они будутъ говорить съ тобой объ очень важномъ, очень важномъ, Эмиль, но ты не долженъ волноваться.

Э. Грелье. Да. Я знаю.

Жанна (быстро цѣлуя его). Я иду.

Выходитъ, почти столкнувшись съ возволнованной Сильвиной.

Жанна. Да, я знаю, знаю. Уберите здѣсь, Сильвина.

Сильвина убираетъ со стола, отодвигаетъ кресла. Э. Грелье закрылъ глаза, блѣденъ и неподвиженъ.

Морисъ (шепчетъ). Кто это, Сильвина?

Сильвина что-то отвѣчаетъ съ восторгомъ и ужасомъ; то же выраженіе появляется на лицѣ Мориса. Сильвина выходитъ, Морисъ быстро удаляется къ окну и заранѣе прикладываетъ лѣвую руку ко лбу, вытянувшись по-военному; такъ стоитъ, пока его не замѣтили. Входятъ: Жанна, графъ Клермонъ, за нимъ на нѣкоторомъ отдаленіи министръ Лагардъ и адъютантъ графа, пожилой генералъ суроваго вида, со многими знаками отличія. Самъ графъ Клермонъ—высокій, стройный молодой человѣкъ въ скромной офицерской формѣ: никакихъ орденовъ и знаковъ высокаго происхожденія. Держится очень скромно, даже застѣнчиво, но, поборовъ первое смущеніе, говоритъ горячо и сильно, съ широкими и свободными жестами. Движенія быстры. Всѣ относятся къ нему съ большой почтительностью. Лагардъ—сильный старикъ съ сѣдой львиной головою; рѣчь проста, движенія спокойны и рѣшительны; видна привычка говорить съ трибуны.

У Жанны въ рукахъ большой букетъ цвѣтовъ. Графъ Клермонъ прямо и быстро подходитъ къ постели Грелье.

Графъ Клермонъ (смущаясь). Я пріѣхалъ пожать вашу руку, дорогой учитель... о, только ни одного лишняго движенія, ни одного, иначе я буду очень несчастенъ!

Э. Грелье. Я глубоко тронутъ, я счастливъ...

Графъ. Нѣтъ, нѣтъ, не говорите такъ! Здѣсь передъ вами только человѣкъ, который учился мыслить по вашимъ книгамъ. Но что они съ вами сдѣлали—посмотрите, Лагардъ!

Лагардъ. Здравствуйте, Грелье, хочу и я пожать вашу руку. Сегодня я волею судьбы министръ, но вчера я былъ только врачемъ и могу поздравить васъ: у васъ хорошая рука. Давайте-ка попробуемъ пульсъ.

Генералъ (выступая, скромно). Позвольте и мнѣ отъ лица нашей арміи выразить наше восхищеніе, мосье Грелье!

Э. Грелье. Благодарю васъ. Мнѣ совсѣмъ хорошо, Лагардъ.

Графъ. Но можетъ быть хирурга?..

Жанна. Онъ можетъ слушать и говорить, графъ. Онъ улыбается—онъ можетъ слушать.

Графъ (увидя Мориса и смущаясь). О, кто это? Пожалуйста опустите руку, вы ранены.

Морисъ. Я такъ счастливъ... графъ!

Жанна. Это нашъ второй сынъ, Морисъ. Первый нашъ сынъ, Пьеръ Грелье, убитъ въ Льежѣ... графъ.

Графъ. Я не смѣю васъ утѣшать, мадамъ Грелье. Дайте мнѣ вашу руку, Морисъ.

Морисъ. О... графъ! Я только солдатъ, я не смѣю...

Графъ. И я, дорогой мой, теперь только солдатъ. Руку, товарищъ. Вотъ такъ. Учитель!—мои дѣти и жена прислали вамъ цвѣты... но гдѣ же они, о, какой я разсѣянный!

Жанна. Вотъ, графъ.

Графъ. Благодарю васъ, мадамъ. Но я не зналъ, что у васъ цвѣты лучше моихъ, а мои... они такъ пропахли дымомъ и гарью!

Лагардъ. Какъ и вся Бельгія. (Графу Клермону). Пульсъ хорошій.—Грелье, мы пріѣхали къ вамъ не только затѣмъ, чтобы выразить вамъ наше сочувствіе—въ моемъ лицѣ рабочіе всей Бельгіи жмутъ вашу руку...

Э. Грелье. Я горжусь, Лагардъ.

Лагардъ. Ну,и мы гордимся не меньше. Да, намъ надо поговорить. Графъ Клермонъ не рѣшался васъ безпокоить, но я сказалъ: пусть умретъ, но раньше мы съ нимъ поговоримъ—э, не такъ ли, товарищъ?

Э. Грелье. Я не умру. Морисъ, тебѣ лучше выйти.

Графъ (быстро). О, нѣтъ, нѣтъ. Онъ вашъ сынъ, Грелье, и онъ долженъ присутствовать при томъ, что скажетъ его отецъ. О, я гордился бы честью имѣть такого отца!

Лагардъ. Нашъ графъ очень славный молодой человѣкъ—простите графъ, я опять нѣсколько нарушаю...

Графъ. Ничего, я уже привыкъ. Сегодня вамъ и вашей семьѣ, дорогой учитель, необходимо переѣхать въ Антверпенъ.

Э. Грелье. Наши дѣла такъ плохи?

Графъ. Скажите ему, Лагардъ.

Лагардъ. Что же говорить! Плохи, да—очень плохи. Эта орда гунновъ идетъ на насъ, какъ морской приливъ. Сегодня они еще тамъ, а завтра они зальютъ вашъ домъ,Грелье. Они идутъ къ Антверпену. Что мы можемъ имъ противопоставить? Отсюда они, а тамъ море—отъ Бельгіи уже немного осталось, Грелье. Скоро моей бородѣ негдѣ будетъ помѣститься. Не такъ ли, молъ... графъ?

Молчаніе. Издали приносятся глухіе звуки канонады; всѣ обращаютъ взоры къ окну.

Э. Грелье. Это сраженіе?

Графъ (прислушиваясь, спокойно). Нѣтъ, это случайно. Пристрѣливаются. Но уже завтра они повезутъ мимо васъ, Грелье, свои

дьявольскія орудія. Вы знаете: это настоящія желѣзныя чудовища, подъ тяжестью которыхъ содрогается и стонетъ наша земля. Они движутся медленно, какъ амфибіи, выползшія ночью изъ пучины—но они движутся! Пройдетъ еще нѣсколько дней, и они подползутъ къ Антверпену, они на городъ, на церкви обратятъ свои пасти... Горе Бельгіи, учитель, горе!

Лагардъ. Да, очень плохо. Мы честный и мирный народъ, который ненавидитъ пролитіе крови—вѣдь этакая глупость: война! И мы уже давно не имѣли бы ни одного солдата, если бы не это проклятое сосѣдство, не это разбойничье баронское гнѣздо...

Генералъ. А что бы мы дѣлали безъ солдатъ, мосье Лагардъ?

Лагардъ. А что мы можемъ сдѣлать и съ солдатами, мосье генералъ?

Графъ. Вы неправы, Лагардъ. Съ нашей маленькой арміей у насъ есть еще одна возможность: погибнуть, какъ гибнутъ свободные. А безъ нея—мы уже были бы чистильщиками сапогъ, Лагардъ!

Лагардъ (ворчитъ). Ну, я-то никому не стану чистить сапоги. Плохо дѣло, Грелье, плохо. И осталось у насъ одно только средство... Правда, довольно страшное средство...

Э. Грелье. Я знаю.

Лагардъ. Да? Какое же?

Э. Грелье. Плотины.

Жанна и Эмиль вздрагиваютъ и съ ужасомъ смотрятъ.

Графъ. Вы вздрогнули, вы дрожите, мадамъ! А что же дѣлать мнѣ, что же дѣлать намъ, которые не смѣютъ дрожать!

Жанна. Нѣтъ, я такъ. Я подумала о дѣвушкѣ, которая ищетъ дорогу къ Лонуа. Никогда ей не найти дороги къ Лонуа!

Графъ. Но что же дѣлать! Что же дѣлать!

Всѣ задумались. Графъ отошелъ къ окну и смотритъ, нервно пощипывая усы; Морисъ отодвинулся въ сторону и попрежнему стоитъ на вытяжку; невдалекѣ отъ него, опираясь плечомъ о стѣну и закинувъ красивую блѣдную голову, стоитъ Жанна. Лагардъ попрежнему сидитъ у постели, поглаживая сѣдую, всклокоченную бороду. Мрачно задумался генералъ.

Графъ (рѣшительно обернувшись). Я мирный человѣкъ, но я понимаю, что можно поднять оружіе. Оружіе! Это значитъ мечъ, это ружье, это разрывные снаряды...это, наконецъ, огонь! Огонь убиваетъ, но онъ и свѣтитъ, огонь очищаетъ, въ немъ есть нѣчто отъ древняго жертвоприношенія. Но вода!—холодная, темная,молчаливая, обволакивающая тиной, раздувающая трупы... Вода, которая есть начало

хаоса, вода, которая день и ночь сторожитъ землю, чтобы броситься на нее... Друзья мои, повѣрьте мнѣ: я довольно смѣлый человѣкъ, но я боюсь воды! Лагардъ, что вы скажете на это?

Лагардъ. Мы, бельгійцы, слишкомъ долго боролись съ водой, чтобы не научиться страху. Я тоже боюсь воды.

Жанна. Но кто страшнѣе: пруссаки или вода?

Генералъ (кланяясь). Мадамъ права: они не страшнѣе, но хуже.

Лагардъ. Да. У насъ нѣтъ другого выбора. Страшно выпускать воду изъ плѣна, звѣря изъ логовища, но все же онъ намъ больше другъ, чѣмъ пруссаки. Чортъ возьми, вѣдь плавалъ же Ной, когда пришлось... простите, графъ. И я предпочту, чтобы всю Бельгію съ головой покрыло море, чѣмъ протянуть руку примиренія негодяю! До этого ни онъ ни мы не доживемъ, хотя бы самъ Антлантическій океанъ ринулся на насъ!

Короткое молчаніе.

Генералъ. Но до этого мы не дойдемъ, надѣюсь. Пока намъ необходимо затопить только часть территоріи, это не такъ страшно.

Жанна (закинувъ голову, съ закрытыми глазами). А что будетъ съ тѣми, которые не захотятъ покинуть своихъ жилищъ—которые глухи—которые больны и одиноки? Что будетъ съ нашими дѣтьми?

Молчаніе.

Жанна. Тамъ на поляхъ и въ оврагахъ есть раненые; тамъ бродятъ тѣни людей, но въ жилахъ ихъ еще течетъ кровь—что будетъ съ ними? О, не смотри на меня такъ, Эмиль, лучше не надо слушать, что я говорю. Я только потому, что у меня вдругъ заболѣло сердце... и меня вовсе не надо слушать, графъ.

Графъ Клермонъ быстро и рѣшительно подходитъ къ постели Грелье, вначалѣ говоритъ смущаясь, пріискивая слова, но дальше все смѣлѣе и громче.

Графъ (смущаясь). Дорогой и уважаемый учитель! Мы не осмѣливались бы отнимать у васъ хотя бы крупицу вашего здоровья, если бы... если бы не увѣренность въ томъ, что служеніе народу можетъ дать только новыя силы вашей... героической душѣ! Уже вчера на нашемъ совѣтѣ было рѣшено взорвать плотины и затопить часть королевства, но я не могъ, я не смѣлъ дать полнаго согласія, пока не выслушаю васъ. Всю ночь я не спалъ и думалъ—о, какъ страшны, какъ невыразимо печальны были мои мысли! Мы всѣ, и онъ, и я, мы—тѣло, мы—руки, мы—голова, а вы, Эмиль Грелье, вы—совѣсть нашего народа. Ослѣпленные войной, мы можемъ невольно, совсѣмъ нечаянно, совсѣмъ противъ нашего желанія нарушить завѣты человѣчности —

пусть ваше строгое сердце скажетъ намъ правду. Другъ мой! Мы доведены до отчаянія, у насъ нѣтъ Бельгіи, она затоптана врагами! но въ вашей груди, Эмиль Грелье, бьется сердце всей Бельгіи—и вашъ отвѣтъ будетъ отвѣтомъ самой нашей измученной... окровавленной... несчастной страны!

Отворачивается къ окну. Морисъ плачетъ, глядя на отца.

Лагардъ (тихо). Браво, Бельгія!

Молчаніе. Слышна канонада.

Жанна (Морису, тихо). Сядь, Морисъ, тебѣ нехорошо стоять.

Морисъ. О, мама! Мнѣ такое наслажденіе сейчасъ стоять... о, мама!

Лагардъ. Теперь и я добавлю нѣсколько словъ. Какъ вамъ извѣстно, Грелье, я—человѣкъ изъ народа. Да, это вѣрно. И я знаю, чего стоитъ народу его трудъ, чего стоятъ всѣ эти огороды, сады и фабрики, которые мы похоронимъ подъ водой. Это стоитъ намъ пота, Грелье, здоровья и слезъ. Это—наши страданія, которыя обратятся въ радость для нашихъ дѣтей. Но какъ народъ, который выше пота своего, крови и слезъ уважаетъ и любитъ свободу,—какъ народъ, говорю!—я предпочту, чтобы здѣсь, надъ головами нашими, ходили морскія волны, нежели чистить сапоги пруссаку! И пусть отъ Бельгіи останутся только острова, они назовутся «Честными островами», а островитяне будутъ попрежнему бельгійцы!

Всѣ въ волненіи.

Э. Грелье. А что говорятъ инженеры?

Генералъ (почтительно выждавъ отвѣта молчащаго графа). Они говорятъ, мосье Грелье, что это можетъ быть сдѣлано въ два часа.

Лагардъ (ворчитъ). Въ два часа! Въ два часа! А строили сколько лѣтъ?

Генералъ. Инженеры плакали, говоря это, мосье Грелье.

Лагардъ. Инженеры плакали... Да какъ и не заплакать, подумайте сами, Грелье?

Внезапно всхлипываетъ и не торопясь лѣзетъ въ карманъ за платкомъ.

Графъ. Мы съ волненіемъ ждемъ, Грелье. На васъ тяжкій долгъ передъ родиной вашей—поднять на нее руку.

Э. Грелье. А иной защиты у насъ нѣтъ?

Молчаніе. Всѣ въ позахъ тяжелаго раздумья; Лагардъ откровенно вытираетъ глаза и неторопливо, со вздохомъ, роняетъ отвѣтъ.

Лагардъ. Нѣтъ.

Генералъ. Нѣтъ!

Жанна (качнувъ блѣдной головой). Нѣтъ.

Графъ (быстро). Намъ необходимо выиграть время, Грелье. Силою всѣхъ нашихъ жизней, брошенныхъ въ поле, мы не можемъ ихъ остановить. (Топнувъ ногой): Время, время!—намъ необходимо украсть у судьбы частицу ея вѣчности, нѣсколько дней, недѣлю! Къ намъ спѣшатъ. Уже идутъ съ востока русскіе. Уже до самаго сердца французской земли проникла нѣмецкая сталь... и въ ярости отъ боли уже поднимается надъ нѣмецкими штыками французскій орелъ и къ намъ направляетъ полетъ! Уже стремятся къ намъ благородные рыцари моря, британцы, и къ Бельгіи черезъ пучину протянуты ихъ мощныя руки, но время, время! Дайте намъ времени, Грелье, о нѣсколькихъ дняхъ, о часахъ молитъ насъ Бельгія! Вы уже отдали ей свою кровь, Грелье, и вы имѣете право поднять на родину вашу окровавленную руку!

Короткое молчаніе.

Э. Грелье. Плотины надо разрушить.

Занавѣсъ.

Леонидъ Андреевъ

„ВСЕ ПРОЙДЕТЪ“.

I.

Вы всѣ помните тѣ милые куплеты нашего русскаго эллина, истинно великаго поэта, которому не привелось присутствовать, вмѣстѣ съ нами, при событіяхъ громадной исторической важности. Не онъ, а мы можемъ ежечасно повторять слова другого поэта:

«Великихъ зрѣлищъ, міровыхъ судебъ
Поставлены мы зрителями нынѣ».

Но Некрасовъ — авторъ этихъ двухъ стиховъ — былъ пѣвецъ «мести и печали», и у него вы не найдете того утѣшающаго куплета, который мы всѣ заучивали еще въ дѣтствѣ. И въ немъ послѣдній стихъ былъ особенно намъ близокъ и дорогъ:

«Что пройдетъ,—то будетъ мило».

Вотъ и теперь, едва ли не каждый день невольно повторяешь, чтобы уйти отъ ужасовъ войны, этотъ пушкинскій лозунгъ:

«Все пройдетъ!»

Это — несомнѣнно, и за такой труизмъ надо крѣпко держаться. Онъ кажетъ въ недалекомъ будущемъ ясный горизонтъ, манящій вдаль желаннаго существованія, какого наше отечество еще не знало ни въ прошломъ вѣкѣ ни въ началѣ текущаго. Есть въ нашемъ литературномъ жаргонѣ и другое бодрящее изреченіе, и оно принадлежитъ перу также великаго русскаго писателя. Это—любимая поговорка Стивы Облонскаго изъ «Анны Карениной». Не одинъ Стива, и самъ Толстой, навѣрно, любилъ повторять тѣ слова, которыя онъ вложилъ въ уста своего неунывающаго русскаго, жизнерадостнаго барина:

«Все образуется». Даже и послѣ теперешней всемірной катастрофы, т. е. другими словами: «все пройдетъ». А что пройдетъ,—«то будетъ мило».

Существуетъ простонародная прибаутка, всего больше московская: «все утрясется». Не правда ли: какъ это напоминаетъ вамъ нашу купецко-мужицкую Москву, гдѣ столько приходится отмѣривать, насыпать, упаковывать, гдѣ безъ этого слова рѣшительно нельзя было бы обойтись?..

«Утрясется» и все то, что ужасная война взбудоражитъ, насыплетъ черезъ край, и надо будетъ добиваться того, чтобы все это утряслось.

Какъ видите: у настоящихъ русскихъ людей оптимизмъ—въ крови, имъ проникнуто коренное чувство вѣры въ вѣчные законы бытія, въ то, что народъ, призванный къ разумной, гуманной, героической жизни, все переработаетъ, переживетъ и одолѣетъ, извлекая изъ всего—даже изъ такой войны—основы болѣе свѣтлаго существованія.

И тогда, когда *все образуется*, то, что «пройдетъ», будетъ не-

премѣнно «мило», и мы всѣ станемъ вспоминать, съ умиленнымъ чувствомъ, годину страшныхъ испытаній, которая надвинулась на насъ не спроста, а для того, чтобы мы побѣдоносно перегорѣли въ этомъ горнилѣ.

II.

— Такъ что же будетъ, когда все пройдетъ?

Точно для отвѣта на этотъ, слишкомъ обширный, вопросъ, случайная находка попалась мнѣ на прогулкѣ, когда я остановился у кіоска съ продажей газетъ, журналовъ и брошюръ.

Война вызвала къ жизни д шевое изданіе цѣлой серіи еженедѣльныхъ брошюръ на одну общую тему: «Итальянскіе вопросы» (Problemi Italiani), по два су каждая; по-нашему — «листовка». Авторы—все извѣстные писатели, среди которыхъ такія имена, какъ историкъ Гульельмо Ферреро и критикъ-публицистъ Уго Ойетти, мой давнишній знакомый, еще по римскому сезону 1897—1898 гг.

Брошюрка бросилась мнѣ въ глаза своимъ заглавіемъ: «Россія, Балканы и Италія». И на первой же страницѣ составитель ея приводитъ отрывокъ изъ своего разговора ни больше, ни меньше, какъ съ авторомъ «На днѣ». Разговоръ этотъ происходилъ уже послѣ взрыва войны и въ предѣлахъ Россіи, въ Финляндіи. Было это, какъ тутъ значится: «истекшей осенью».

— Писатель, — говоритъ итальянскій авторъ, — съ усмѣшкой, немного усталой и полной иронiи, сказалъ мнѣ:

— Есть ли что-нибудь болѣе странное: видѣть Россію въ роли спасительницы Европы отъ тевтонскаго варварства?

И въ самомъ дѣлѣ? Вѣдь наше отечество такъ долго слыло *варварской* страной въ глазахъ просвѣщенной Европы, что такая роль, повидимому, не можетъ не казаться странной.

Тутъ мы оставимъ итальянскую брошюру и вернемся опять къ вопросу: что же будетъ, когда все пройдетъ, т. е., что будетъ у *насъ*, на нашей родинѣ, въ русскомъ народѣ и обществѣ? Предсказывать мы ничего не беремся; а выразимъ только наши скромныя *pia desideria*, ограничиваясь лишь тѣмъ, что приведемъ здѣсь нѣсколько застарѣлыхъ мотивовъ въ нашей собирательной интеллигенціи.

Едва раздались первые выстрѣлы въ Дарданеллахъ, и у насъ уже стали забавляться тѣмъ, что мы еще не такъ давно называли въ нашихъ газетныхъ бесѣдахъ: «Славянофильскими обглодками». Они опять подаются русской публикѣ въ видѣ злободневной закуски. Славянофильство — этотъ пришелецъ изъ царства тѣней является теперь въ компаніи такихъ интеллигентовъ новѣйшей марки, которые изумили бы Хомяковыхъ, Кирѣевскихъ и Аксаковыхъ, если бъ они вдругъ проникли въ ихъ среду.

Московскіе шеллингіанцы и гегельянцы, создавшіе славянофильское ученіе по *нѣмецкимъ* теоріямъ, были люди почтенные, и ихъ нельзя ничѣмъ инымъ помянуть, какъ добрымъ словомъ; но тѣ, кто теперь силятся пѣть по ихъ нотамъ, являются исполнителями такихъ бравурныхъ арій, съ которыми надо бы повременить, по

меньшей мѣрѣ, до того момента, когда «все пройдетъ», и наше отечество придетъ въ равновѣсіе послѣ всеевропейской катастрофы.

III.

— Неужели,—спросимъ мы,—когда все пройдетъ и настанетъ для насъ, русскихъ, моментъ пріять «купель пакибытія», мы не сдадимъ окончательно въ архивъ пресловутую распрю западниковъ и славянофиловъ?

Уже и теперь, когда война еще въ самомъ разгарѣ, раздаются подновленныя препирательства, примѣрно, о томъ, *кто* былъ Толстой, и утверждаютъ тономъ осужденія, что, видите ли, онъ былъ *западникъ*. Развѣ это не мертворожденное византійство? Должно быть, мечта о Царьградѣ разбудила въ нашихъ «книжникахъ и фарисеяхъ» мозговую чесотку, во вкусѣ тѣхъ кровавыхъ распрей, какія велись въ Византіи о тонкостяхъ толкованія разныхъ богословскихъ терминовъ и понятій, когда, напримѣръ, изъ-за слова «гомоусіосъ» (единосущный) происходили жестокія схватки, и злоба, вмѣсто христіанской любви, раздѣляла на враждебные лагери дѣтей одной и той же церкви.

Пора покончить со всѣмъ этимъ затхлымъ старьемъ, такъ же, какъ и съ попытками воскресить такъ называемую «уваровскую формулу», которую вѣдь тоже можно съ натяжкою пріурочить къ credo первоначальныхъ славянофиловъ. Ни квасныхъ патріотовъ, ни партійнаго національнаго—ничего этого не надо той Руси, которая хочетъ погрузиться въ купель пакибытія. Все это—«обглодки» и «обгрызки» или того, что сыграло уже свою роль, или того, что никогда никакой истинно-прогрессивной роли не играло.

Навѣрно, и «черная сотня», и весь классъ «зубровъ» тоже кричатъ о Царьградѣ и по этому поводу требуютъ еще большаго закрѣпощенія всѣхъ тѣхъ, къ кому они относятся у себя дома хуже, чѣмъ пруссаки къ жителямъ Бельгіи, Франціи и русской Польши.

И черная сотня и зубры будутъ все тѣ же, даже и тогда, когда все пройдетъ. Но они-то *не пройдутъ*, почему и никакъ нельзя будетъ имъ оказаться «милыми», хотя бы и въ ближайшемъ прошломъ. Они *пройдутъ* только тогда, когда весь внутренній строй нашего отечества станетъ держаться на новыхъ началахъ, когда такимъ эпигонамъ нашего безвременья не будетъ никакой физической возможности проводить въ жизнь свои кастовыя и обскурантскія домогательства и даже мечтать объ этомъ!

Близится тотъ часъ, когда всѣ наши клички, словечки, прозвища, отзывающіяся не добрымъ, а *злымъ*, старымъ временемъ, канутъ въ Лету. Тогда и болѣе почтенное слово «славянофильство» займетъ скромное мѣсто въ коллекціи тѣхъ *фишъ*, которыя досужіе историки русской культуры станутъ собирать и накалывать на особые металлическіе прутики.

А мы всѣ хоромъ будемъ возглашать:
«Requiescant in pace!»
Да будетъ имъ легка земля ихъ могилы!

IV.

Кто слѣдитъ за тѣмъ, что теперь пишется во Франціи,—знаетъ, какъ тамъ болѣе независимые и менѣе партійные органы печати радуются, всего больше, тому, что отечественная война, защита своихъ «очаговъ» отъ злобнаго и хищнаго врага, произвела благопріятный поворотъ въ общемъ настроеніи. Недавнія партійныя распри смолкли; политиканство, междоусобныя выходки разныхъ фракцій должны были затихнуть. Надолго ли?—никто за это поручиться не можетъ, но прежней безплодной игры во внутреннюю политику уже не будетъ. Слишкомъ сильно теперь сознаніе того, что надо всѣмъ сплотиться, отстаивать и на будущее время независимость и достоинство родины; ставить ее выше, если не всего міра, какъ кричатъ нѣмцы, то выше всякихъ домашнихъ дрязгъ.

Неужели и у насъ не выйдетъ того же самаго? Признаки, схожіе съ тѣмъ, что происходитъ во Франціи, появились, кажется, и у насъ? Гдѣ же тутъ предаться партійной и кружковой суетолокѣ, когда всѣ силы страны нужны намъ на то, чтобы застраховать себя надолго, если не навсегда, отъ вражескаго засилья, отъ его хищной и ненасытной гегемоніи.

Но будетъ ли такъ и дальше, когда «все пройдетъ», когда мы очутимся передъ «купелью пакибытія».

Обращаемся къ собратьямъ нашего поколѣнія (сколько ихъ еще есть въ живыхъ) и къ генераціямъ дальнѣйшихъ десятилѣтій, вплоть до конца прошлаго вѣка. Развѣ не правда, что русская «пишущая братія» слишкомъ долго предавалась повальной болѣзни безконечныхъ счетовъ, неисправимому *направленству* и *кружковщинѣ?* Если полемика не достигала такихъ крайностей къ концу XIX вѣка, какъ это бывало въ 60-хъ, 70-хъ и 80-хъ годахъ, то, все-таки, не выводились закоренѣлыя замашки къ задорному тону, травлѣ или долголѣтнему замалчиванію своихъ собратовъ, все равно, посредственныхъ или очень даровитыхъ. Но и помимо этого,—развѣ трагедія отечественной войны не заставитъ замолчать героевъ модернистской блажи, которые все еще собираютъ полные залы молодежи; а ей можно было бы, кажется, находить болѣе достойные предметы своего интереса.

Неужели, когда *все пройдетъ*, и пройдетъ благополучно, всѣ эти ego-футуристы будутъ все еще искажать тотъ прекрасный языкъ, на которомъ ego-Пушкинъ когда-то восклицалъ, обращаясь заочно къ своимъ собратамъ:

«Друзья мои! Прекраснъ нашъ союзъ,
Онъ, какъ душа, нераздѣлимъ и вѣченъ,
Неколебимъ, свободенъ и безпеченъ,
Сростался онъ подъ сѣнью дружныхъ музъ!».

П. Боборыкинъ.

СОДЕРЖАНІЕ.

	Стр.
Въ какое время мы живемъ. Ст. Кузмина	3
Съ любовью. Стих. З. Гиппіусъ	4
Въ лѣсу. (Эпизодъ изъ походной жизни) Д. Романова	5
Переправа. (Изъ боевыхъ впечатлѣній) В. Бѣлова	10
Забытое. (Разсказы) А. С. Гринъ	14
Турецкія картинки. Б. Никонова	21
Отраженія. А. Ѳедорова	31
Разсказъ о великомъ знаніи. М. Арцыбашева	36
Сонъ. (Разсказъ) Б. Лазаревскаго	45
Икона. Стихот. Т. Щепкиной-Куперникъ	54
Путями крови и побѣдъ. В. Мужейля	55
Бэпи. Л. Пасынкова	62
Сѣрые герои. (Разсказъ раненаго)	66
Наши лучшіе друзья. (Изъ письма офицера). С.	69
Балканскія настроенія. Г. Ольгенина	72
Въ мирномъ царствѣ труда. Проф. Фриче	76
Танинъ Ричардъ. (Разсказъ) Ѳедора Сологуба	81
Бельгіи. (Стихот.) Т. Щепкиной-Куперникъ	85
При лунномъ свѣтѣ (Разсказъ офицера). В. Бѣлова	87
Будущее Бельгіи. Проф. Валентина Сперанскаго	93
Странички: I) Вы можете разрушить башни. Ст. Кузмина	96
II) Скомандовалъ ротмистръ «галопомъ». Ст. А. Липецкаго	97
Горно. Л. Пасынкова	98
Сны. А. Куприна	102
Въ Львовѣ. Чл. Госуд. Думы А. Русанова.	105
Роковой ночлегъ (Разсказъ офицера). В. Бѣлова	115
Иванъ въ раю. Евгенія Чирикова	121
Дыханіе войны Члена Госуд. Думы П. Герасимова	126
Восхожденіе. Леонида Андреева	132
Перспективы (Миніатюра). С. Казанскаго	136
Тоска (Разсказъ). Т. Ардова	140
Герой. А. Осипова	149
Король, Законъ и Свобода. IV картина. Новая пьеса. Леонида Андреева	158
Все пройдетъ. П. Боборыкина	172